

ИДУ К ЛЕНИНУ

50-летию со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина посвящается

Александр Скрыпник

ИДУ К ЛЕНИНУ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1974



3КСМ
С45



ОБ АВТОРЕ

Александр Скрыпник — журналист. Работал в газетах Казахстана, был собкором «Комсомольской правды» в Средней Азии. С 1967 года — специальный корреспондент «Правды». Его перу принадлежат книги очерков и рассказов «Встречи в пути», «Человек себя ищет» и другие. Многие из очерков, что вошли в эту книгу, — результат его поездок по стране.

С $\frac{10507-035}{078(02)-74}$ 133—74



Мы стоим у Мавзолея с моим старым добрым другом. Смотрим, слушаем... Отсюда начинается все: твоя Родина, вся твоя жизнь, все самое главное в твоей жизни.

— Послушай, — спрашиваю я друга,— о чем ты думал, когда в первый раз пришел на Красную площадь?

— Не знаю... — Он долго молчит, припоминая, должно быть, ту минуту. Потом говорит: — Понимаешь... Есть такие чувства...

Мимо нас идут люди. Разные люди: белые и черные, русские и украинцы, литовцы и таджики. Взрослые и дети. Идут со всей Москвы, со всей страны, со всех концов земли. Переговариваются негромко:

— К Мавзолею?

— Становитесь рядом.

— Гляди, сынок, это Кремль...

— Здесь солдат захоронен. Кто он? Наш солдат, русский...

— ...В сорок втором под Волховом... Говорю хлопцам: давайте прощаться. А один был у нас, говорит, все равно жить будем, если хоть один из нас останется. Нас помнить будут — значит, живы мы. В памяти живы...

— Мама, а Ленин вон там?

— Там, девочка...

— Я знаю человека, который Лениа видел. Понял? Вот как с тобой говорил, рядом стоял. Фамилия ему Коноплев. Красногвардеец бывший. Сейчас на пенсии. Мудрый мужик. Ленина видел! Понял?

Чем ближе к Мавзолею, сдержаннее разговор. У каждого свои мысли, свои чувства.

Но вот вечер. Полуприкрыта дверь в Мавзолей. Замерли в карауле солдаты. Солнце золотит стрелки часов на Спасской башне. Утихает Москва. Отдыхает после работы. Стоит в очереди у касс кинотеатров. Стережет лишний билет в театр. Гуляет по улице Горького.

И на Красной площади. Я не видел Мавзолея, отрешенного от людей. У его полуотворенной чугунной дверцы всегда народ. И вечером, и ночью тоже. Что ведет их сюда? Говорят: посмотреть смену караула... Но вот этот пожилой человек, он столько наблюдал этих караулов... И этот парень, на лацкане пиджака его алой каплей горит комсомольский значок, ему уже восемнадцать. Он тоже, видать по всему, был здесь не раз. Но почему так сосредоточен его взгляд? Здесь, перед Мавзолеем, стоят и эти двое совсем юных, молча взявшись за руки... О чем думают они все? Все те, кто стоит сегодня, в этот самый обыкновенный вечер: седой ветеран и парень с комсомольским значком, юная пара и эта усталая женщина...

— Скажи, — спрашиваю своего старого друга, — ты часто бываешь на Красной площади?

— Всегда, когда приезжаю в Москву...

...Идут и идут люди к Ленину. Кто они, что они несут с собой, что хотят положить из сделанного в жизни к подножию Мавзолея? Что значит Ленин в жизни каждого из нас: в моей, в твоей, в его...



В СЕРДЦЕ ТВОЕМ

Ему с самого детства врезались в память те тревожно-печальные строки:

...А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он унес с собою
Частицу нашего тепла.

Эти строчки читал старший брат, школьник. А пятилетний Валерий жадно слушал все, что вслух читал старший брат.

— Володька, — спрашивает он, — а что такое стужа?

Горячий ветер «афганец» гонит по узким улицам далекого узбекского городка седую пыль.

— Не мешай, — отмахивается Володька.

— А что такое Колонный зал?..

— А почему Ленина положили в Колонный зал? — не унимается Валерий.

— Потому что он Ленин.

Валерий наконец смолкает. Он пытается представить Москву, Колонный зал, стужу, но у него ничего не получается. Ему становится очень грустно...

Много лет минуло с тех пор. Ныне Валерий Хлебов — студент московского института. И еще он лауреат конкурса студенческих работ по проблемам общественных наук.

Валерий Хлебов выходит из метро на станции «Площадь Революции». Над Москвой опрокинуто весеннее небо, почти такое же, как небо детства в родном городке из его, Валериного, детства... Вообще-то Валерию если домой, то направо. Но он вот уже который день подряд избирает другой путь. Он сворачивает из метро налево, проходит мимо Центрального музея В. И. Ленина, потом через подземный переход — на площадь 50-летия СССР, огибает гостиницу «Москва» и выходит на проспект Маркса. Он идет не спеша. В его воображении всплывают те самые пять ночей и дней, когда страна прощалась с Лениным. Он видит мысленно дымные костры на заснеженных улицах, бесконечные толпы людей, красноармейцев в островерхих шлемах. У самого входа в Дом союзов он невольно замедляет шаг...

Потом Валерий привычным путем идет мимо Большого театра и дальше. Теперь вот в эту дверь, над которой значится: «Центральный архив ВЛКСМ». Он приходит сюда два раза в неделю. В его анкете, которую он заполнил в первый же день, написано: «Цель работы: подготовка материалов для реферата «50 лет со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина».

Уже внизу, у входа, Валерию, будто давнему знакомому, кивает пожилой служитель, который сидит за стеклянной конторкой с неизменной книжкой в руках. На третьем этаже приветливо здоровается с Валерием миловидная девушка в очках с толстыми стеклами, живая, смешливая, совсем непохожая на архивного работника, представлявшегося Валерию в облике этакой старушки. Валерий уже кое-что знает о девушке в очках. Юлия окончила вечернее отделение историко-архивного института. В архиве ВЛКСМ писала дипломную работу, да так и осталась. Сейчас работает референтом. Ну и еще отвечает за читальный зал. Правда, «читальный зал» громко сказано. Просто приспосо-

били помещение, поставили два стола. А как же еще? Восемь-десять человек приходят на дню в архив. Им до зарезу нужны те или иные материалы по истории комсомола. Одному для докторской или кандидатской диссертации, другому, вот как Валерию, — для студенческого реферата.

— Ну как сегодня, двинемся дальше? — спрашивает Юлия.

Валерий, еще под впечатлением пережитого у Дома союзов, качает головой:

— Нет, я хочу еще раз просмотреть вчерашнее.

Юлия кладет перед ним две толстые папки. Валерий открывает одну из них...

«Из протокола экстренного заседания пленума Центрального Комитета РКСМ:

Слушали:

О присвоении РКСМ имени товарища ЛЕНИНА.

Постановили:

1. Присвоить Российскому Коммунистическому Союзу Молодежи имя товарища ЛЕНИНА...

2. Вопрос о присвоении РКСМ имени товарища ЛЕНИНА вынести на решение Всероссийского съезда РКСМ...»

50 лет назад под Москвой, в Горках, перестало биться сердце Ильича. Молодежь тяжело переживала эту утрату. В день смерти Ленина был созван экстренный пленум ЦК комсомола, который принял тот самый документ, что держит сейчас в руках Валерий Хлебов...

Смерть Ленина всколыхнула всю молодежь страны. Листает Валерий Хлебов на первый взгляд самые обыкновенные бумаги, а в ушах его слышится голос тех далеких лет.

Резолюция общего собрания комсомольцев и молодежи фабрики «Пролетарка».

«В Центральный Комитет РКСМ.

Общее собрание комсомольцев и всей рабочей молодежи «Пролетарки», обсудив задачи, лежащие перед нашим союзом в связи со смертью великого вождя мирового пролетариата, нашего дорогого учителя Ильича, постановляет:

Просить Центральный Комитет на Всероссийском съезде союза поставить вопрос о наименовании нашего союза — Российский Коммунистический Союз Молодежи Ленинцев.

КЛЯТВА ИЛЬИЧУ

(Дана общим собранием рабочей молодежи «Пролетарки»)

Мы, молодые рабочие «Пролетарки», дети великого класса, лучшим вождем и учителем которого был Ильич, клянемся в том, что всю свою жизнь, все силы отдадим освобождению трудящихся, делу Ильича и доведем его до победного конца. Будем верны славным революционным традициям нашей партии, сплотим все силы свои вокруг этой партии, дадим ей молодую смену, сохраним лозунг Ильича — через дисциплину и единство к победе.

Сохраним непримиримую ненависть к врагам, будем верны боевому знамени Ильича — через труд и знания к коммунизму.

Будем ленинцами...

В этом даем юношескую пролетарскую клятву. Перед твоим именем, Ильич, клянемся!

(Клятва была повторена хором всем собранием.)»

...Через четыре дня после смерти вождя, 26 января 1924 года, собрался II Всесоюзный съезд Советов, и на нем генеральный секретарь ЦК комсомола Петр Смородин от имени всей молодежи сказал так:

«Пленум нашего ЦК постановил переименовать наш союз в Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Постановив переименовать наш союз, дать ему имя нашего вождя, мы должны помнить, что, когда у него была делегация от нашего первого Всероссийского съезда, он нам говорил: «Не в названии дело, не в словах, а дело в том, что вы сделаете и как будете делать». И после, в 20-м году, на 3-м Всероссийском съезде нашего союза, Ильич пришел к нам на съезд и читал доклад о воспитании молодежи. Он нам сказал, как нужно делать, как нужно это дело претворять в жизнь.

Он нас, комсомольцев, учил: коммунистом нельзя быть по книжке, коммунистом может быть только тот, кто все свое время посвятил общему делу — делу рабочего класса... Коммунистом может быть тот, кто в повседневной, кропотливой работе несет общественные обязанности и строит общее государство. Вот слова Владимира Ильича».

«Правда», 31 января 1924 года.

Мелькают перед глазами Валерия страницы документов, пролетают запечатленные в них события тех дней, недель, месяцев... В дни ленинского призыва 26 160 лучших из лучших воспитанников комсомола стали членами партии коммунистов. Вот они, документы — свидетели того времени.

«В ряды РКП и комсомола:

КРЕМЕНЧУГ. 30 января. На траурном вечере в память Ленина 30 рабочих и 8 подростков подали заявления о вступлении в Коммунистическую партию и комсомол.

САМАРА. 30 января. Собрание рабочих ж.-д. мастерских, считая, что путь, по которому Ленин вел рабочих, является единственно правильным, нашло бесчестным оставаться вне рядов партии. Группа в 80 рабочих обратилась с коллективным ходатайством о принятии их в РКП. Группа из 24 подростков подала также заявления в комсомол».

«Правда», 31 января 1924 года.

«СОРМОВО. 10 февраля 1924 года.

В ЦК ЛКСМ.

Ленин никогда не умрет в жизни комсомола и рабочей молодежи Сормова. Считайте нас своим надежным ленинским отрядом».

...Валерий поднимает голову от бумаг. Это писали из Сормовской комсомольской организации. А из Сормова был горьковский Павел Власов. Вот она, эстафета высокого пролетарского духа.

...Кто были они, эти люди? Как выглядели, что любили и ненавидели, о чем мечтали, о чем думали?

Каким был, например, вот этот парень?

«Из заявления молодого рабочего Прохоровской мануфактуры в ячейку РКСМ. Январь 1924 года.

Потому как нашей РКСМ и вообще всемирной РКП без Ильича трудно, а он за нас жизнь отдал, то мы навсегда стали за Советскую власть и были коммунистами не книжными, то просим принять нас в РКСМ. Не взыщите, коль плохо обучен, но для того и иду к вам, чтобы одолеть ильичевские заветы и сделаться хорошим ленинцем...»

«Комсомольская правда», 24 октября 1928 года.

...Припомнилось Валерию. Прошлый раз, когда он вот так же сидел здесь за столом, пришли молодые сталевары с «Серпа и молота». Работники архива пригласили их затем, чтобы записать на магнитофонную пленку рассказы о плавке дружбы. Внимание Валерия привлек один из ребят. Он волновался, то и дело прерывая свой рассказ:

— Подождите, подождите. Я подберу хорошие слова. Ведь люди будут слушать через много лет. Так пусть они знают, как мы работали и жили. По-ленински работали и жили!

И еще Валерий думает о том, что здесь, в архиве, он много узнал не только непосредственно из документов, над которыми засиживался, но и из рассказов сотрудников архива. Это настоящие энтузиасты своего дела. Они в курсе всех событий, всегда в поиске. Вот Валерий слышит:

— Ленинский зачет... Всесоюзное комсомольское собрание... Студенческие строительные отряды... Это же неистощимый клад материалов о верности комсомола идеям Ленина. Надо искать и собирать все важное, интересное...

(Это из разговора заведующего архивом с молодыми сотрудниками)

...И вот новый день. Опять привычный путь из метро, мимо Дома союзов, в знакомый переулок неподалеку от площади Дзержинского.

— Как сегодня? — встречает Валерия вопросом Юлия.

— Сегодня пойдем дальше.

Валерий открывает новую папку.

...В мае 1924 года состоялся XIII съезд партии. Наряду с другими важными вопросами решался на нем и вопрос о молодежи. Речь шла о том, чтобы вовлечь в ряды Союза молодежи всю рабочую молодежь, увеличить сеть комсомольских организаций в деревне. Ленинский набор в РЛКСМ вызвал массовый приток молодежи в комсомол. В частности, в Ленинграде только за несколько дней ленинского призыва в комсомол вступили тысячи юношей и девушек.

Вскоре после съезда партии собрались на свой съезд в июле 1924 года комсомольцы. На нем было единодушно подтверждено решение ЦК РКСМ о присвое-

нии союзу имени Владимира Ильича Ленина. Делегаты съезда поклялись, что под руководством партии они не уронят знамени Ленина. Манифест ко всем комсомольцам, ко всей рабочей и крестьянской молодежи гласил:

«Не для красного словца, не из желания носить лучшее из всех имен, не только для того, чтобы почтить уважением память великого усопшего, приняли мы это решение. Нет, мы приняли его для того, чтобы вся трудящаяся молодежь всех народов, населяющих СССР, вместе со своим передовым отрядом — Коммунистическим Союзом Молодежи — прониклась единой волей и твердой решимостью научиться по-ленински жить, работать и бороться, осуществлять заветы, оставленные нам Лениным».

...Оторвав взгляд от бумаг, Валерий долго смотрит за окно, где неумолчно гудит Москва... Кто придумал и пустил эти слова «архивная пыль», думается ему. Архив, мол, отрешен от сегодняшних наших дел, он весь в прошлом, в бумагах, в документах. Нет, совсем нет. Слышно, как по телефону переспрашивает кого-то Юлия:

— Трудовая ленинская эстафета? Сейчас приедем.

Из соседней комнаты — другой разговор:

— Представляешь, Лида, с целины прислали протокол о первом комсомольском собрании в совхозе «Ленинский»...

Отличные ребята и девчата эти «комсомольские архивариусы», улыбается про себя Валерий. Спасибо им за то, что они тщательно собирают и хранят документы о Ленинском комсомоле, потому что документы эти — наше национальное богатство. И еще: за каждым из этих документов — трудовые дела и свершения молодежи, выполняющей ленинские заветы. А в тех делах и свершениях весь человек, его труд, его жизнь, его вклад в великое дело строительства коммунизма. И как хочется Валерию походить и на безымянного рабочего с Прохоровской мануфактуры, сквозь строки заявления которого проступает твердая убежденность, несгибаемое упорство; и на тех ребят и девчат с «Пролетарки», что хором повторяли клятву в день смерти Ильича; и на того парня с «Серпа и молота», имя которого он постеснялся спросить.

...Опять Валерий Хлебов тем же путем по проспекту

Маркса, мимо Дома союзов возвращается к себе домой, в общежитие. И снова приходят на память стихи о великом Ильиче: «Как будто он унес с собою частицу нашего тепла...»

Нет, думает Валерий Хлебов. Он не унес с собой тепло. Он по частичке вложил его в сердце каждого из тех, кто жил при нем, комсомольцам двадцатых годов. Это тепло, этот свет живет и сегодня в сердце каждого из нас. Живет, подтверждая, что Ленинский комсомол верен заветам великого вождя, с честью, достоинством и гордостью носит имя бессмертного Ленина.



„МОЙ“ КОСМОНАВТ

Это стало славной традицией: перед полетом в космос приходят космонавты сюда, на Красную площадь, к Ленину...

Я писал эти строки в тот день, когда они вернулись в Москву. Наши герои-космонавты. Уж сколько времени минуло с того апрельского дня, когда ликующая Москва встречала первого Колумба вселенной. Потом были другие. И так же сияли улыбки, так же миллионы глаз и миллионы сердец были устремлены к героям. Наверное, можно и привыкнуть. Но нет. Опять для всех — орбита, открытая Юрием Гагариным в космосе и почетный путь на земле по подмосковным перелескам из Внукова прямо в людское половодье Ленинского проспекта, к седому Кремлю...

И опять всюду, куда ни глянешь, — радостные лица, сияющие глаза, восторженные улыбки. Москва по-матерински раскрывала объятия своим отважным сыновьям.

Еще во Внукове, там, где они впервые ступили на московскую землю, в восторженной людской толчее, которая теснила меня к забору, я все пытался увидеть одного из них. Хотелось лучше рассмотреть его лицо. А он был далеко от меня. Тогда я попросил у своего коллеги-журналиста телевик. И лицо его стало рядом. То самое лицо. Та самая знакомая улыбка.

...Летом шестьдесят первого года в Звездном на квартире у Юрия Гагарина я увидел за стеклом книжного шкафа фотографию веселого парня.

— Кто это?

Гагарин пошутил:

— Новая кинозвезда. Видал, улыбочка.

Я взял в руки фотографию, а Гагарин засмеялся, довольный розыгрышем.

— Это же Шонин, — сказал он. — Из нашего отряда. В авиации вместе служили. И тут в отряде судьба вновь свела. Парень отличный.

Мы было отправились к нему в гости, но дома не застали, к великому моему сожалению. Но как-то в другой раз, встретившись в Театре на Таганке, я подошел к нему как к старому знакомому. Видимо, поступил я так потому, что у него было удивительно открытое, доброжелательное лицо...

После мы виделись с ним редко. Но если встречались, говорили подолгу. О предстоящем полете в космос говорил скупо. Больше о жизни, о товарищах. Он рассказывал про родную Балту. Про Одессу. Про Север, где служил. Теперь об этом знает весь мир в подробностях. Теперь он — герой космоса. А тогда был просто хороший, веселый парень...

Вот уже Попович побывал в космосе. Потом Валентина Терешкова. А «мой» все не летел.

И вот он вернулся из космоса вместе с друзьями, блестяще выполнив задание Родины. И пока они ехали, сопровождаемые почетным кортежем машин, по ликующим улицам Москвы, вспомнилась еще одна встреча.

Как-то я позвонил Шонину в Звездный городок.

— Я сегодня буду в Москве, — сказал он. — Встретимся?

— Где?

— В Александровском саду. Знаешь, там, где очередь к Мавзолею.

— Хорошо.

Георгий был с бабушкой и еще одной дальней родственницей, имени которой я не запомнил. Вместе с бабушкой она приехала в гости к Георгию. Бабушка, всю жизнь безвыездно прожившая в Балте, решилась наконец поехать в Москву.

— Вот, — кивнул Георгий, — сегодня мы в Мавзолей решили пойти, к Ленину.

Бабушка стояла молчаливая и сосредоточенная. Я сказал:

— Мария Петровна, стоять долго придется. Вам будет тяжело. Может, попросить, чтоб без очереди...

Бабушка сурово поглядела на меня и ответила:

— Тут дело такое, что самое время постоять и подумать.

И мы стояли...

Глядя на бабушку, припомнился рассказ Георгия о том, как в годы оккупации она прятала от фашистов портрет Ленина.

— Нет, не прятала, — поправил тогда Георгий. — Она берегла его как самое дорогое в жизни. Фашисты и полицаи свирепствовали: одних расстреливали за связь с партизанами, на другой день схватили соседей, у которых нашли красный флаг. И, несмотря ни на что, портрет Ленина бабушка хранила, пока наши не пришли...

В голосе Георгия слышалось неподдельное восхищение.

...Еще раз виделись мы на Красной площади. Были тогда грустные, очень грустные минуты прощания с Юрием Гагариным. Вспомнились слова Юрия Гагарина: «Дорогая, родная Москва! Стены седого Кремля! Вы, конечно, будете приветствовать и тех молодых парней, которые, положив цветы к подножию Мавзолея, шагнут в неизведанное — к далеким мирам, чтобы навеки прославить свое Отечество, нашу столицу, которую нельзя не любить».

Одним из этих отважных парней стал Георгий Шонин, он точно так же, как когда-то его друг Юрий Гагарин, триумфально проехал по Москве среди восторженного людского моря...

В тот день, когда хоронили Гагарина, Георгий сказал:

— Невероятно жаль...

И потом, перед самым стартом еще сказал о Гагарине журналистам:

— Мне все-таки кажется, что Юрий раскрылся полностью как человек уже после своего полета. Я никогда не думал, что в этом простом, веселом парне столько русской мудрости, столько такта и чувства собственного достоинства. Согласитесь, если вам на плечи свалится в двадцать семь лет такая всемирная

слава, надо иметь много сил, чтобы вынести ее на плечах, остаться таким, каким ты был. Юрий выдержал испытание славой. Это я больше всего ценил в нем как в человеке.

И опять повторил как тогда, на Красной площади:

— Невероятно жаль, что так рано он ушел...

...Долго мы бродили с Георгием в сквере, где еще держался последний мартовский снег, стояли у Вечного огня. И еще дольше — у Мавзолея. Я спросил Георгия:

— Наверное, так же стояли здесь и перед полетом в космос.

— Да, так же стояли... Набирались сил...



„КРАСНЫЙ ФАКЕЛ"

В детстве я жил в глухом казахском ауле. Зимой до райцентра надо было долго добираться на лошадях. До города было совсем далеко. Город по тому времени казался мне краем света. Аул наш стоял на берегу речушки, и кругом, насколько доставал взгляд, простиралась пустынная степь. Летом, в зной, струилось по горизонту текучее марево и вставали в зыбком его колыхании призрачные видения. Нам грезились необыкновенные дворцы, синие моря, алые паруса под ветром. И еще Красная площадь, Мавзолей, елочки у кремлевской стены...

Зимой сорок третьего года в аул приехали геологи из Москвы. Я ходил за ними по пятам и ловил каждое слово, не сводя с них глаз: вот в этих валенках они ступали по Красной площади, этими руками касались гранитного Мавзолея...

Когда пришла пора уезжать, я потерял покой. Было грустно от того, что вот они уедут и будут приходить на Красную площадь, а я останусь тут... Мне было тогда четырнадцать лет. Я учился в шестом классе...

Много лет спустя на Алтае я попал в маленькое село, чем-то напомнившее аул моего детства.

...Входим в дом. Старые скрипучие половицы. Сту-

паешь, и каждый шаг отзывается тонким звоном в комоде.

— Пол надо перестлать, — словно оправдывается Анатолий. Он садится напротив меня в потертой вельветовой куртке, голубоглазый. Взял «Роман-газету». Полистал, отложил в сторону. Перехватив мой взгляд, признался с улыбкой: — Люблю книжки. Жинка все грозится: «В печку, — говорит, — выкину. Из-за них утром тебя не добудишься...»

На стене монотонно тикают ходики, отсчитывая в этой тишине длинные минуты, часы. Кажется, тронь рукой маятник, и время остановится.

— Старые часы, очень старые, — говорит Анатолий, — это еще от деда... Ну так о чем же мы будем беседовать?

— О жизни, о тебе.

— Жизнь у нас тихая. Видели кино «Живет такой парень»? Вот и я вроде из таких. Только он шофер, а я тракторист. У него еще в жизни что-то происходит. Помните, дружка своего женит, машину горящую спасает. А у нас ни пожаров, ни наводнений. Речка, сами видели, воробей пешком перейдет. И женятся редко. Ходят сейчас трое ребят холостых и две девчонки. Я уж тут говорил одному: «Ты, Вася, лишний, уехал бы, что ли, куда, а то так у вас ничего не получится...» Днем выйдешь на улицу — соловей в бору заливается да трактор далеко-далеко как шмель гудит. Вот и вся жизнь...

Есть такие села на Руси — десяток домов в одну улицу на склоне у речушки. На пустой, заросшей травою площади одинокое здание клуба или конторы под блеклым флагом. И тишина. Такая, что собственный голос в ней вязнет. Смотришь и думаешь: как живут тут люди, о чем думают, о чем мечтают, что хотят они сделать на этой земле? Или просто живут, и все.

Один раз уезжал Анатолий Панкратьев из «Красного факела»: провожали в армию его и еще двух парней — Геннадия Скрипникова и Сашу Лубяника. Геннадий, как выехал за село, весело сказал:

— Ну все. Прощай-прости, «Красный факел». Из армии — только в город.

Анатолий молчал: жаль было расставаться с селом.

Отец Анатолия был лесником. Когда уходил на

фронт, Анатолий смутно помнил. В сорок втором приехал в отпуск после госпиталя — одни кости да кожа, заболел туберкулезом. У других возвращались отцы на костылях или с пустым рукавом гимнастерки, заправленным под ремень. А тут туберкулез. По своему мальчишескому неразумению сильно переживал Анатолий и даже немного стыдился за отца.

Однажды они пошли вдвоем ловить барсуков: отец пил барсучий жир, и от этого ему становилось лучше. По дороге встретили мать в лесу. С того дня как взяли отца в армию, она работала вместо него. Сидели у ручья, разговаривали. Анатолий принялся строить запруду из песка, и до него донеслись обрывки разговора взрослых.

— Может, отец, хватит с этими барсуками... — Голос матери был просительным и неуверенным.

— Ты что, немного еще, и совсем поправлюсь.

— Опять на фронт...

Анатолий не расслышал, что сказала мать и что крикнул ей отец в ответ. Он увидел только его яростное, с нездоровым румянцем лицо и бешеные глаза. Схватив связку капканов, он шагнул прямо в чащобу. Анатолий побежал следом.

Несколько раз отец ездил в военкомат. Отказывали. Наконец уехал на фронт. А через месяц пришла похоронная.

Теперь они остались одни. Целыми днями бродили по лесу: подсаживали молодняк, убирали валежник. Ночью сторожили лес от браконьеров. Этих людей Анатолий ненавидел лютой ненавистью, на которую был способен: они рубили под корень все подряд и даже тот молодняк, который Анатолий с матерью подсаживали осенью...

Вернувшись из армии, Анатолий в первый же день отправился в Космолинский бор. Он узнавал места, где бродил когда-то. Молодые деревца, которые они садили с матерью, уже поднялись и окрепли. Анатолий отыскал ручей, где когда-то сидели они втроем с отцом и матерью. Долго стоял на том месте, припоминая подробности разговора, смысл которого стал ему понятен позже. Мать мало говорила с ним об отце. Но он понял, что это был человек долга. Он и лечился только для того, чтобы вернуться на фронт...

Съезжались в село товарищи, которые вместе с ним

уходили в армию. Сидели думали, как жить дальше. Молодежь покидала село. Геннадий Скрипников все брюзжал:

— Чего торчать в этой дыре. Поездил я — вон как люди живут.

Молчальник Саша Лубяник вставил:

— Людей-то мы кормим.

— У нас в части, помню, как торжественно провожали демобилизованных на стройку, — сказал Анатолий. — Командир части лично обнимал каждого.

— Ну и что?

— Ничего.

— От добра добра не ищут, — заключил Саша.

Они сидели в этой же комнате. Те же половицы скрипели под табуретками, те же старые дедовские часы тикали на стене. Анатолий подошел, подтянул гирю: чугунную еловую шишку, отполированную до черноты руками.

— Кто как, а я никуда не поеду.

— Ну да, надо ж кому-то людей кормить, — осклабился Геннадий.

Анатолий ничего не ответил. Он думал об отце. Вспоминал, как тот, давясь, через силу пил барсучий жир, чтобы скорее выздороветь и отправиться на фронт, где были все.

...Они с Сашкой Лубяником остались в «Красном факеле». Хотели поступить в училище механизации, но не хватало в колхозе сеяльщиков, и они стали работать в поле.

Такая тишина стоит в доме, что кажется — тронь рукой маятник, часы смолкнут и остановится жизнь. В соседней комнате кто-то заворочался, забормотал во сне.

— Сынишка у меня, — пояснил Анатолий. — Чистый разбойник растет. Жинка на работе, а я вроде няни... Да, вот так живем.

В «Красном факеле» — колхозная бригада. Когда-то тут был механизированный отряд. Начальником — Киселев Владимир Алексеевич, отличный механизатор, умный человек. Это он прививал Анатолию любовь и интерес к земле.

— Земля как живой человек, Толя, — любил он говорить. — Вот тебе скажут доброе слово, сделают

для тебя доброе дело, и ты готов ответить тем же. Так и земля.

У них было свое поле. Они сами пахали его, сеяли, убирали. Каждый знал свое место, свое дело. Знал, что хлеб в его руках.

Припоминая сейчас про то, как работали с Киселевым, Анатолий внезапно погрустнел:

— Распустили отряд. А зря. Я вот по себе знаю — верное дело. Нынче весной дали мне «Беларусь» и вот гоняют то туда, то сюда. Все это нужно: и прикатка поля, и удобрения там возить. А вот для чего я делаю, не знаю. Я хочу, чтоб как тогда было: выйдешь осенью в поле, прямо прыгать от радости хочется — сам все это сотворил: сам пахал, сам сеял...

Внезапно смутился, даже покраснел:

— Небось думаете: ну, понесло, стихами заговорил... А я в самом деле серьезно...

Весной пришел Анатолий в правление, сказал:

— Дайте мне участок под кукурузу.

— Ты же не знаешь, как с ней обращаться.

— Научусь.

Дали девяносто гектаров. Набрал разных книжек, брошюр. Сидит ночами, читает. Жена грозится:

— Опять книжки.

— Чудачка, это ж про кукурузу.

Агроном сказал:

— Ты уж гляди, Толя, чтоб не хуже, чем у других.

— Чтобы не хуже? Чтоб лучше! Разобьюсь в лепешку.

Сеял дольше других, зато на совесть...

Анатолий приподнялся, дотянулся рукой до окна, отодвинул занавеску.

— Жара, будь она неладна. Сейчас бы дождя доброго для хлеба. Недавно ехали с председателем, тучка набежала, потемнело. Председатель смотрит перед собой и губами шевелит. «Что это вы?» — спрашиваю. Он отвечает: «Капли на стекле считаю... Позарез дождь нужен...»

В соседней комнате опять забормотал во сне сынишка. Анатолий пошел туда, вернулся с потеплевшими глазами, сказал:

— Дед мой души в нем не чает.

— Дед, которого эти часы?

— Он самый... Член партии с двадцатого года. Ста-

рый партизан. Говорит мне как-то: «Пора, Анатолий, в партию тебе вступать». — «Как же мне, — отвечаю, — в партию, если я, может, еще и комсомолец ненастоящий». Приезжают из райкома, говорят: «Надо, чтоб у вас соревнование, самодеятельность, мероприятия всякие». Ну, соревнование у нас есть. Мы вон с Сашкой соревнуемся: кто больше вспашет. Говорят: «молний» у вас нет». А для кого ее тут выпускать? Нас всего-то, механизаторов, раз, два — и обчелся. То же и с самодеятельностью. У нас молодежи — я, Сашка да те три парня и девчата, про которых я вам рассказывал...

Дед мне: ты, мол, брось эти разговоры. Ты комсомолец. Раньше вон в наше время, бывало, комсомолец один на один со всякой сволочью выходил. А тебе сейчас чего? Жизнь вон какая. Так пусть и место у нас тут тихое, а мы коммунизм строим. Ты ж наша смена, главный, значит, закоперщик должен быть в любом деле. Не перевелся ж комсомольский в вас дух! Целую речь дед сказал мне в тот раз...

Владимир Ильич Ленин на III съезде комсомола говорил, что союз коммунистической молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин... Позже подумалось об этом, когда мы ходили по селу и читали яркие «молнии», слушали рассказ о том, как комсомольцы села во главе с Анатолием организовали тут весной веселый праздник первой борозды, а вечерами в клубе и концерт, и беседа интересная, из райцентра лекторов через райком вызывают. По инициативе комсомольцев опять в селе механизированный отряд создали. Анатолий в нем руководитель, несмотря на молодость. Вот только первая весна, но уже, по всему видать, дела в отряде ладятся, потому что у комсомольцев за плечами опыт старших и сами они боевые, инициативные ребята.

— И сколько же вас в селе комсомольцев, Толя?

— Четверо... Не считая меня.

— Тебя?

— А меня на днях приняли в партию.

Принимали Анатолия в клубе на общем партийном собрании. Первым поднял руку за него дед. Анатолий сидел и смущался: «Еще подумают — родственные отношения».

...Мы прощались с Анатолием. Такая же первоздан-

ная тишииа висела в комиате, только поскрипывали половицы и иа стеие тикали часы. Те же самые ходики, что отсчитывали минуты, часы и славные годы деда Анатолия, старого коммуниста и партизаиа...

Прощаясь, Аиатолий задержал мою руку в своей:

— Я хотел попросить вас...

— О чем?

— Вот, — и тут только я заметил в другой руке у иего ветку яблоии. — Я ие был никогда в Москве. Вы положите это к Мавзолею. Зиаете когда? 22 апреля.

Я стоял и молчал, вспомииая далекую воеииую зиму сорок третьего, себя четыриадцатилетнего. И подумал: сколько их, таких сел и деревеиь, иа иашей земле — на Алтае и Дальием Востоке, в Узбекистаие и Башкирии, на Украиие и в Болгарии, в Чехословакии и Польше — и иезримые иити отовсюду тяиутся к Леииииу...

С той поры, с той иашей встречи иа Алтае каждую весиу, ближе к середине апреля, я иепремеино получаю по почте баидероль из «Красиого факела». В ией — веточка яблоии.



ОНА ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

— Уезжаешь?
— А что же еще? Рыба ищет, где глубже...
— Так то ж рыба ..

Разговор на вокзале

ПОПУТЧИКИ

Когда я собирался в Рудиый, товарищи-журиалисты наперебой советовали мие:

— Непремеиио иайди иа стройке Любу Вербицкую. Интересиейший человек.

— Где она работает?

Одии сказал:

— В комитете комсомола.

Другой поправил:

— Монтер она...

Третий возразил:

— Когда я уезжал, она была бетонщицей.

— Что же она такая непоседливая: то монтер, то бетонщица?

— Характер у нее такой.

— Неуживчивый?

— Что ты! Наоборот...

Что значит «наоборот», я так и не узнал, потому что спешил.

Потом я ехал в Рудный. В купе вагона у меня было три попутчика. Ворчливый пожилой мужчина, похожий на толкача-заготовителя. Знакомясь, он сунул толстую мягкую ладонь и буркнул свою фамилию, которую я не расслышал. Напротив расположился на полке сухонький старичок в пенсне. Он назвался Николаем Самсоновичем. О себе рассказал, что работал бухгалтером всю жизнь. Теперь вышел на пенсию. Едет в гости к сыну в Рудный — поглядит, может, и останется.

Третьим попутчиком был рослый рыжеволосый парень в ковбойке.

— Костей зовут. А фамилию не скажу. Знаю я вас, корреспондентов. С вами откровенно, а вы чуть что — и вставите фамилию в статью.

И он засмеялся громко и заразительно, запрокидывая голову. А я так и не понял, шутит он или говорит всерьез. Костя сказал о себе коротко. Окончил институт. Работал на разных стройках.

— Поездил, повидал. Рассказывать обо всем долго. По специальности инженер-сантехник. Еду на стройку без путевки. Просто так, вроде бы вне конкурса...

Наш поезд грохотал на перегонах, с гулом проносился по мостам. За окнами лежала земля. Она принимала свой извечный молодой вид, потому что была весна. Яркой акварелью разливалась вокруг зелень. Отцветали яблони, облетала на ветру их бело-розовая кипень, и на ветках оставалась завязь...

Навстречу нам шли и шли составы с машинами и станками, лесом и углем. Нас обгоняли эшелоны. Веселые девчата и парни радостно махали нам из дверей, улыбались из окон вагонов. На остановках они осаждали станционные буфеты, мигом раскупали газеты в киос-

ках, устраивали прямо на перроне танцы. Эшелоны шли на восток. И даже по ночам, когда наш поезд останавливался, мы слышали за окном смех, и песни, и веселую перекличку:

— Откуда?

— Москвичи.

— А мы киевляне. В Казахстан на целину помогать едем.

— Мы в Братск, на ударную комсомольскую...

Сосед в белой косоворотке, глядя в окно, брюзжал:

— Едут, едут. Куда? Зачем, спрашивается. Модно, видишь ли, сейчас на целину ездить. Эхе-хе... Молодо-зелено. На губах материно молоко, а в голове ветер. Вот и рвутся куда-то...

Бывший бухгалтер, поправляя пенсне и ни к кому не обращаясь, сказал:

— Молодость — время такое: человек себя ищет...

Свесив с верхней полки рыжую шевелюру, Костя поддержал бухгалтера.

— Правильно, отец! — весело крикнул он. — Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.

„ЛУННАЯ СОНАТА"

Случилось так, что в Рудном мы с Костей поселились в одном номере гостиницы. И оба обрадовались этому: как-никак знакомые люди. По утрам мы вставали и, наскоро позавтракав, бежали каждый по своим делам. Встречались только поздним вечером. Костя рассказывал о своих делах — он устраивался на работу. Я делился с ним впечатлениями о стройке, о людях.

— А Любу так и не встретили? — интересовался Костя. Я еще в дороге рассказал ему о наказе товарищей. — Ну ничего, встретите, — утешал он. — Я тоже буду интересоваться, и чуть что — вам сообщу.

А утром мы опять расходились по своим делам.

Однажды ночью я пошел в бригаду строителей-отделочников Владимира Подкопаева. Ребята и девушки в жестких, немнущихся спецовках, забрызганных раствором, отделывали стены жилого дома. Работали живо, весело переговаривались. И вдруг погас свет. Подождали минут пять. Бригадир послал кого-то из ребят за монтером. Все собрались на лесах, сидели, свесив ноги,

разговаривали. Ночь была теплая. Звезды повисли низко над землей, и луна проливала на город голубой свет. Двое девчат (в темноте белели их косынки) сидели обнявшись и тихонько пели украинскую песню про ночь, про то, как по небу плывет месяц и светит влюбленным парубку и дивчине...

— «Лунная соната», — вздохнул сидевший рядом бригадир Володя Подкопаев.

Кто-то негромко рассказывал:

— ...Возвращались мы, значит, в Рудный из Кустаная трактором. Сани с будкой — на прицепе. Дело было весной пятьдесят седьмого. Снег подтаял, по оврагам вода тронулась. Провалились сани в овраг. Тракторист кричит: «Прыгай! Водой зальет будку!» А она стоит по колено в воде возле будки, ругается: «Не уйду, краска пропадет». Мы краску везли. Бросились мы помогать. Пока не перенесли на сухое место банки с краской, она не ушла с саней...

— О ком это? — поинтересовался я.

— Дивчина тут одна есть, — отозвался бригадир.

Уже другой голос продолжал:

— А я с ней на строительстве ТЭЦ работал. Фундамент для пропарочных камер рыли. Осень была, земля промерзла как железо. А она долбит ломом наравне с ребятами. Я тогда спросил ее, почему она из комитета комсомола на ТЭЦ перешла. В комитете работа была тихая — заведующей учетом. «Потому, — говорит, — и ушла, что работа тихая».

Бригадир закурил, сказал, обращаясь ко мне:

— Слыхали? Конечно, прибрехали, наверное, хлопцы немного, но дивчина Люба настоящая.

— Постой, — сказал я. — Ее фамилия не Вербицкая ли?

— Точно, Вербицкая. Монтером работает. Да она сейчас придет свет исправлять...

Вот сидит рядом со мной девушка. Высокая, большеглазая, в мешковатом комбинезоне. Это Люба Вербицкая.

— А что о себе рассказывать? — переспрашивает она. — Обыкновенная история. Приехала на стройку, работаю... Ну если уж вы хотите, расскажу все по порядку. Родилась я в деревне под Воронежем. Девятый

класс окончила, а десятилетки в иашей деревие ие было. Родители мои спали и во сне видели меня врачом. А мне врачом иу ии капельки ие иравится.. Хотелось мие шофером работать. Страиное желаиие для девушки, правда? Чтобы быстрая езда, чтоб поездить, посмотреть. Я было только заикиулась дома, а мать в слезы, отец чуть ие выгиал. Что делать? Родители ведь. Подала я докумеиты в медицинское училище. Поехала сдавать экзамеиы и иа первом же завалилась. Писали сочинеиие, так я иарочио ошибок поиаделала. Вериулась домой. Мать опять, коиечно, в слезы. Отец рассердился, говорит: «Мы тебе по-хорошему пытались помочь. Не хочешь — как хочешь. Иди куда глаза глядят. Сама в жизии устраивайся, ие маленькая».

И я пошла. Вернее, поехала. Была у меия подружка Катя Ракитянская. Вместе школу коичали. Боевая девчоика. «Поедем, — говорит, — к дяде в Красноводск. На завод устроимся». Поехали. Ее иа завод прииияли, а меня иет — восемиадцати ие было. Тогда я устроилась иянечкой в больнице. Подзаработала денег и поехала на Челекеи. Полуостров такой есть. Там меия взяли учеиицей дежуриого у щита иа электростанции. Общежитие дали. Потом оказалось, что учеиица там ие положена. Пошла на строительство дороги. Была разиорабочей, работа тяжелая. А я не хныкала — сама ведь решилась в жизни устраиваться. Стала в вечернюю школу ходить. Руки как свиицом иалитые, глаза закрываются, а я держусь. Сдала иа аттестат зрелости. После этого на рыбозаводе работала сортировщицей. Но что бы ии делала, все время чувствовала — ие моя это жизнь, ие настоящая. Я вот вам откровеино скажу — и это ие ради высоких слов, это по сердцу — хотелось мне в жизии сделать что-то большое, заметиое. Мне с детства в душу запало, как, вступая в пиоиеры, мы клялись жить и бороться по-леиински. Это ж ие просто слова. Это была клятва. Так как же прожить жизнь полеииински? Я так думаю, чтоб не просто жить и жить, а чтоб потом люди сказали: «Вот сделал это такой-то человек». Не подумайте, это ие тщеславие. Это желаиие найти свою мечту, свою звезду. Иные иаходят, другие иет.

— Вы иашли свою? — спросил я.

Девушка обериулась ко мие, засмеялась:

— Какой вы скорый. Об этом рассказ впереди. Сейчас поздно. Мне на третий квартал надо. В другой раз встретимся, тогда и доскажу.

КТО ИЩЕТ...

Костя спал, когда я вернулся в гостиницу. Но я разбудил его и стал рассказывать о встрече с Любой. Костя слушал внимательно, изредка восхищенно щелкал пальцами:

— Вот это девка! Вот это по мне!

А когда я кончил, он заложил руки под голову, прислонился спиной к стене, задумчиво сказал:

— Молодец девка. Надо искать. Иначе что за жизнь. Я вот тоже...

Он начал рассказывать, как ездил по стройкам, работал там и там. Ночь была поздняя, клонило ко сну.

И уже сквозь сон я слышал обрывки Костиного рассказа:

— Я начальнику говорю: «Дашь квартиру из двух комнат — буду работать...» А из Братска я ребят увел. Посудите сами, ну что это за заработки?.. Дружок у меня в Воркуте. Пишет, будто неплохо можно устроиться...

С Любой мы встретились на следующий день в комитете комсомола. Сегодня она была в платье — стройная и, кажется, даже выше ростом. Люди входили и выходили, а мы сидели на диване, в уголке, и Люба тихонько досказывала мне свою историю:

— В июне пятьдесят шестого к нам в Челекен прислали три путевки на ударную стройку в Рудный. Услышала я об этом, и меня будто подтолкнул кто-то: «Вот она, настоящая жизнь». Я, наверное, очень красивые слова говорю? Да?

Так вот, узнала я про комсомольские путевки, побежала в горком. А путевок всего три. И берут только тех, у кого профессия. В общем, меня не взяли, и я даже заплакала от обиды. Первый раз за все время, как уехала из дома. А потом подумала и решила податься в Рудный сама.

Поначалу жила, как и все, в палатке. Под осень похолодало. Встанешь утром — кружкой в ведро, а там лед. Зарплата тоже невелика — мы на ТЭЦ были, на

земляных работах. Я говорю девчатам: «Вы думали, романтика — это только палатки. Вот она какая, романтика настоящая». Потом стала я учиться на бетонщика. Четвертый разряд присвоили. Строили мы завод железобетонных изделий, и я все думала: вот пойдет отсюда бетон на всю стройку — и моя тут доля труда есть. Хотя капелька, но есть. Значит, недаром живу.

Через год избрали меня в комитет комсомола. Сектором учета заведовала. Год прошел. Не понравилось. Не по мне должность — больно тихая. Стала проситься на производство, не отпускают. Спасибо парторг поддержал, товарищ Аблаев. Очень понимающий человек. Опять я немного на ТЭЦ поработала, а затем на монтера послали меня учиться и в бригаду Гены Журавлева. Дали мне инструмент, сумку монтерскую. И вот...

Ого, во скольких домах я свет проводила! Уже не перечесть, наверное. Вот и в те дома, и в те, — девушка махнула рукой в окно. — Замечательная это должность — монтер. Приходишь — темно, неуютно. А ты тянешь провод, и вот, пожалуйста, свет. И дом сразу будто просторнее и уютнее. Помню, пришли мы как-то в новый дом. Там уже жильцы были, а проводку еще не установили. Быстренько справились, свет зажгли. Глянула хозяйка, на радостях не знала, куда нас посадить. Великое это чувство, когда свет для людей зажигаешь...

В тот вечер я возвращался домой позднее обычного. Дежурная по гостинице, подавая ключ от номера, сообщила:

— Сосед ваш уехал. Записку вам в номере оставил.

В комнате, включив свет, я увидел на столе записку. «Я уезжаю, — писал Костя. — С работой у меня ничего не вышло, потому что условия тут не те. Но ничего. Буду искать. Кто ищет, тот всегда найдет».

Последние слова Костя подчеркнул так, что карандаш прорвал бумагу. Я взглянул на Костину кровать. Около нее на полу остались пыльные следы от грязных ботинок, валялись обрывки газет и мятая пачка от сигарет.

Я открыл окно и сел к столу. За окном гудел город и в сотнях домов светились огни, которые зажигала Люба.





ЯЧЕЙКА

Каждый из нас по-своему приходит к Ленину. Через рассказы о нем, через всю его великую жизнь, через труды его и идеи...

Я вижу у нее в блокноте эти строки:

«Жить в *гуще*.
Знать *настроения*.
Знать *все*.
Понимать массу.
Уметь подойти.
Завоевать ее абсолютное доверие...»

Разумеется, эти емкие ленинские слова сказаны совсем по другому поводу, не имеющему прямого отношения к работе партийных групп. Но ее взяла за душу четкость и глубина ленинской мысли, и она выписала эти слова на первую страничку своего блокнота. Для нее они руководство в повседневной работе. Ведь она живет и трудится в самой гуще масс, и кто же, как не она, лучше других должна знать настроения людей, их радости и заботы...

ЕСЛИ КАЖДЫЙ...

Думали, кого избрать партгрупоргом. Коммунисты предложили Зифу Галиеву. Она местная. Тут окончила школу, пошла в доярки. И вот на этой ферме уже восемнадцать лет. Привыкла. И к ней люди привыкли, уважают, потому что работящая, справедливая, отзывчивая. За ее избрание голосовали единогласно. Секретарь парткома Рафиков после собрания сказал:

— Забеги на днях — надо подробно поговорить.

Домой шла Зифа и все не могла собраться с мыслями. Думалось, что парторг или, скажем, партгрупорг, вот как она теперь, это же работник политический, такая ответственность! Ой, как много предстоит ей сделать! С чего же начинать?

Секретарь парткома, как только она пришла к нему, на этот вопрос ответил:

— Вот с чего тебе конкретно начинать, этого и я пока не знаю. Ферма запущенная. Приглядись, что можно сделать, чтоб положение поправить.

Зифа сказала:

— Но это же дело заведующего фермой...

Секретарь согласился:

— Правильно. Но и твое это дело, потому что ты партийный организатор.

— Бектемир Курмангалиевич, — стала возражать Зифа, — я так понимаю, что главное мое дело — это политическая работа.

— А как ты ее представляешь?

— Ну собрания, беседы, лекции. У нас лекций, между прочим, вообще не бывает.

— Хорошо. А собрания и лекции — это, по-твоему, для чего все?

— Чтоб люди грамотные политически были...

Многое из того, что предстояло теперь решать, Зифа по своей неопытности понимала прямолинейно, и потому секретарь парткома не жалел времени для того, чтобы помочь разобраться в новых ее обязанностях. Политическая работа, напомнил секретарь, не самоцель, она должна сплачивать коллектив, влиять на всю его жизнь, а главное, на производство. Именно здесь создаются материальные ценности, закладываются основы коммунизма. Забота об укреплении производства — это и есть самая главная политика партгрупорга.

— Твоя задача, — сказал тогда секретарь парткома, — определить свое место в общих задачах, которые решает наше хозяйство... Продукцию-то мы должны выдавать каждый день. Надо вывести ферму из прорыва. Удастся это сделать — значит, хороший ты политик, Зифа... — Секретарь, улыбнувшись, докончил: — Я уверен, что удастся.

Ферма в колхозе слабенькая. Надои молока низкие. Привесы молодняка тоже не ахти. Ходит доярка Зифа Галиева, занимается своими делами: доит коров, поит их, кормит. И конечно, ко всему окружающему приглядывается, во все вникает. Есть, к примеру, такой скотник Ахмет Кильмухамедов. Телята в его группе

стали в весе терять. Ахмет запустил уход за ними. Что сделала бы раньше Зифа? Ну, может, пожурила бы скотника... Теперь она поступила иначе — созвала партийную группу и, обычно немногословная, сказала:

— Если Ахмет плохо ухаживает за своей собственной коровенкой, он страдает да его семья. А если он плохо смотрит за колхозным скотом — в убытке все наше хозяйство. Как пройти мимо этого? Кто, скажите, как не мы, коммунисты, в первую голову обязаны быть в ответе за все, что вокруг нас?..

И возник на том собрании важный для всех, а для Зифы в особенности, разговор об ответственности коммунистов за порученное дело. Тут сказались знания обстановки, политическое чутье Галиевой. Она понимала, что в ситуации, сложившейся на ферме, разговор о требовательности необходим в первую очередь.

Зифа внешне, как всегда, невозмутима. Сидит слушает, думает. Накануне случайно оброненная кем-то из подружек фраза почему-то запала в сознание. Хорошо, мол, что Зифу партгрупоргом избрали. Ее уважают, будут слушаться. Выходит, люди будут лучше работать из уважения к ней. Из одолжения, что ли? А как сделать, чтоб не из одолжения, а по глубокому убеждению, соизмеряя свои дела с общественными, чтоб стремление поднять хозяйство, вывести в передовые стало внутренним убеждением каждого?

И еще одна деталь. Работает рядом с Зифой на ферме ее подружка Минира Аглиуллина, доярка, секретарь комсомольской организации, недавно в партию приняли. И замечает Зифа, что теперь Минира смотрит на нее уже не просто как на подружку, а как на старшего товарища: ведь Зифа сейчас партгрупорг.

Скосив глаза, поглядывает Зифа на свою подругу Миниру Аглиуллину, которая ведет дневник партгруппы: бегут одна за другой строчки, все, что тут говорят, ложится на бумагу. Но одна мысль бьется в голове у Зифы Галиевой: так что же самое важное?

Снова подает голос Ахмет Кильмухамедов:

— Ну зачем все на меня валить? От меня одного разве дело зависит?

Тогда поднимается Зифа:

— Если каждый из нас крепко задумается над тем, что он дает сегодня на ферме, как делает и что обязан делать...

На том собрании, самом первом в группе, Зифа говорила о том, чтоб не только каждый хорошо делал свое дело, но и другой рядом поступал так же.

И раньше бывали тут собрания: принимали обязательства, обсуждали, как они выполняются, о дисциплине говорили не раз. Но всегда как-то получалось, что за положение дел на ферме отвечали все вообще. А нужно было — она это хорошо понимала, — чтоб каждый строго отвечал за свой конкретный участок. В конечном счете из выполнения коммунистами отдельных поручений и складывается вся общепартийная работа, а коммунист формируется в активного бойца.

Бывает так: говорят иной раз и дельно и бурно, а запал пройдет, и, оказывается, все осталось как было. А тут не проходил запал. Потому что за свое конкретное дело брался каждый.

В колхозе заканчивали начатые еще раньше работы по механизации животноводства. В том числе и на этой ферме. Гафуру Хуснутдинову поручили контроль за работами по механизации. Уже были оборудованы автопоилки, появились доильные аппараты. Застопорились работы по механизации удаления навоза.

— Ты разберись, в чем там дело, нажми, где надо, — советовала Зифа.

Гафур пробовал возражать:

— Это же подрядчики тянут, не наши.

— Так подрядчиков потормоши. Пусть поглядят, сколько нам вручную приходится делать. Ты им мозоли свои покажи на руках.

Коммунисты понимали: для того чтобы сегодня получать высокие надои, нельзя работать по старинке. Надо внедрять новое, передовое. А так много нового просится на ферму! Потому с такой горячностью брались за учебу, тянулись к этому новому. Зоотехник Рафиков однажды рассказывал на занятии зоотехнического кружка, что где-то в Белебее применяют дрожжевание кормов и что это заметно повышает надои. Гафур пошел к председателю колхоза. Тот, замотанный, загруженный тысячью дел, вначале было отмахнулся:

— Далось вам это дрожжевание... Мне Зифа уже говорила, да все, поверь, руки не доходят.

А Гафур не отступал:

— Надо ехать, председатель. Надо изучать это дело.

И председатель поехал в Белебей. Это было тогда. А сейчас уже чаны на ферме установлены. Котельную строят те же подрядчики из Стерлитамака.

Внешне пока будто ничего не переменилось на ферме. Те же заботы, режим тот же. Разве что больше порядка стало, построже дисциплина да вот еще стенная газета на стене.

Так живет эти дни Зифа. И рядом с ней живет и подражает ей во всем и учится у нее Минира Аглиуллина. Она рядом с ней познает первые азы работы с людьми. Молодой партгрупорг и еще более молодой секретарь комсомольской организации — они растут вместе.

...На рассвете над рекой Услинкой долго стоит туман: берегом спешит на ферму Зифа, и голова ее полна заботами о еще не сделанном. Задержалась на минуту у воды, тронула облетевшую ветку ивняка, улыбнулась. У Зифы хорошее, с тонкими чертами лицо, легкая походка, добрые глаза. Добрые и очень внимательные ко всему, что происходит вокруг.

ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ

Строки, выписанные из ленинской работы. Они для нее как компас в жизни.

Жить в гуще.
Знать настроения...

А что это значит — знать настроения?

Припоминая первые шаги Зифы Галиевой в новой для нее роли, секретарь парткома колхоза Рафиков рассказывает:

— Приходит сразу же после собрания, спрашивает: с чего начинать? А я ей: конкретно, мол, сам не знаю. Честно ответил...

Рафиков понимал, что нет готовых рецептов в таком тонком и сложном деле, как партийная работа. Но, отвечая так, он имел в виду и другое: кто же, как не партгрупорг, ближе всего к конкретному делу, к людям! И именно он, партгрупорг, лучше всего разберется в обстановке, если человек он думающий, инициа-

тивный, и сам же выработает правильную линию в работе, линию, которая соответствует сегодняшним задачам, стоящим перед партией.

Рафиков не ошибся в Зифе, потому что увидел в ней человека политически зрелого, энергичного, инициативного. Она приходила к нему раз, другой, и он советовал, подсказывал, но делал это ненавязчиво, осторожно, давая возможность раскрыться ее организаторским способностям.

Но в самом деле нет рецептов на каждый случай. Не поэтому ли получилась однажды у Зифы Галиевой осечка?

Пришла к ней одна из доярок, доверительно посетовала на мужа: куролесит, мол, дома. Зифа только было хотела поговорить с человеком, а он с ходу:

— Это что, тоже партийное дело, как я с женой дома обхожусь?

— Ах так, — вскипела Зифа, — давай тогда обсудим это в партгруппе!

— А мне хоть в Совете Министров!

Собрали партгруппу. Зифа высказала немало гневных слов. Села.

— Кто будет выступать?

Молчат. Виновник разговора посмеивается в кулак, куражится.

— Ты что скажешь, Явдат? — обратилась Зифа к одному.

— Чего я? Он же дебоширит, а я при чем?

Кто-то бросил:

— Что тебе Явдат скажет? У него самого рыльце в пуху.

— Ну а вы, женщины?

— Тут что говорить, — переминались доярки. — Дело это такое — у кого как... Семья ведь...

Чувствуя, что разговора не выходит, Зифа, не выдавая своей растерянности, снова обратилась к виновнику:

— Дальше-то как думаешь?

Тот встал, потоптался на месте:

— Исправлюсь.

А у самого кривая усмешка на губах. Зифа, будто не замечая той усмешки, заключила:

— Гляди. На первый раз ограничимся обсуждением.

Формально все вроде бы правильно: что еще могла, в конце концов, партгруппа сделать? Но прошло с того собрания недели три, а Зифа мучительно переживала неудачу. И не забывала о той истории. Неудача с собранием послужила для нее не только серьезным уроком, но и толчком к не менее серьезным раздумьям над своими поступками, над тем, чем и как она жила в последнее время. В самом деле, ферма уверенно выходит в передовые, настрой у людей боевой, коллектив стал дружнее, так отчего же тогда осечка? И Зифа начала анализировать прошедшее. Отчего так горячо взялась выполнять партийное поручение Минира Аглиуллина, отчего заведующий фермой стал больше вникать в дела, почему пришел и попросился к ним на ферму комсомолец Ильдар Фаткуллин? И хорошо ли она знает всех этих людей?

Итак, знать человека, понимать его, находить путь к его сердцу.

...Поженились двое: доярка Минира и скотник Абдулла. И все бы хорошо, только жилья нет. А строиться некогда, потому что оба заняты на работе. Да и не осилить им такой стройки. Зифа Галиева предложила:

— Давайте всем коллективом поможем. Коммунисты, как?

— Все пойдем.

Они приходили, как только выдавался свободный час: месили глину, конопатили стены, настилали полы. Словом, делали кто что мог и умел. Историю со строительством нового дома молодоженам вспомнила Зифа, размышляя над причиной неудавшегося собрания. И еще раз подумала, как важно знать все о коммунистах своей партгруппы. Но что значит знать все о коммунисте? Как он политически подготовлен? Как работает? Как выполняет партийные поручения? Как ведет себя в быту? Да, это все надо знать. Но для хорошего партгрупорга этого недостаточно. Он должен знать о каждом коммунисте даже больше, чем тот знает сам о себе. Зная его слабости, уметь увидеть запас прочности в нем, разглядеть еще не раскрытое, дать развиться тому, что чуть только намечено, и если это пойдет ему на пользу, уметь найти и открыть хорошее и доброе в человеке.

...Как-то пришла на ферму молодая доярка, добросовестная, старательная, а дело у нее не ладилось. Причины тут были разные. Надо сказать, что и коровы достались новенькой плохие, трудные — даже опытному работнику такие не всегда по плечу. Подумав, Зифа решила передать молодой доярке свою группу коров, а себе взять трудных, тех, что раздаивать надо. Поступая таким образом, Зифа никого не поучала. Но личный пример сильнее любых речей и наставлений. Вскоре другие опытные доярки передали коров молодым. Заведующий фермой поначалу было усомнился:

— Не погубят они лучших коров?

— А мы на что? — ответила Зифа. — Мы-то рядом — учить будем.

Во всех делах людей есть доля труда и Зифы Галиевой. Она исподволь раскрывала способности и наклонности каждого. Делала это умело, подчас незаметно. Она не произносила громких фраз (как это было на первых порах), избегала назидательного тона, что раньше (дело прошлое) за ней наблюдалось.

...Рубленый деревянный домик второй фермы на пригорке между двумя селами — Нижними и Верхними Услами. Председатель колхоза сказал как-то заведующему фермой:

— Гляжу, дом-то ваш вроде выше стал.

— Подновили, подкрасили, — пояснил заведующий и не без гордости добавил: — Не только дом, настрой теперь выше.

Говоря так, он ни в коей мере не приписывал заслуг себе (хотя они, несомненно, были), он подумал о партгрупорге. Никто не заметил, как получилось, что именно она, Зифа Галиева, оказалась в центре всей жизни на ферме. Ни один серьезный вопрос теперь без нее не решают...

ЧП

В тот год осень в Башкирии выдалась добрая. Правда, с начала сентября лили дожди, но зато потом было светло и сухо. Долго держалась зелень. Легок был воздух. Плыла над землей блестевшая на солнце паутина и, цепляясь за кустарник, висла над тихими заводями Услинки. И хотя до зимы было неблизко, на ферме она давала себя знать нахлынувшими забота-

ми: нужно было браться за ремонт помещений, незавершенными стояли хранилища для кормовой свеклы. Зифа вздыхала: она не любила зиму. Вот уже полная механизация на ферме, а как вспомнишь раннее утро, промерзшие закуты, и возню с подойниками, и клубы пара, и весь день-деньской в беготне, еще и еще раз подумаешь: ох как нелегок хлеб у доярки!..

Ферму они думали ремонтировать сами. Это повелось с тех пор, как тут был заведующим старый коммунист Назми Галиев, тот самый, который восемь лет назад давал ей рекомендацию в партию. Какой это человек! Бывало, кто из доярок скажет:

— Мне б в город, по делам.

— Поезжай.

— А коровы как?

— Чего уж там, сам подою.

И оставался и доил не стесняясь. Но если непорядок видел, неправоту к человеку, тут его словно подменяли...

Этой осенью доярки и скотники решили: ферму к зиме сами будем готовить и овощехранилище поможем достроить. Зифа пошла к секретарю парткома, сказала, что они взяли обязательство по подготовке фермы к зимовке и все просят ее передать парткому, чтоб в это соревнование включились животноводы колхоза. Их план одобрили и обязательства тоже на заседании парткома. Соревнование теперь шло по всем фермам. На второй ферме гордились: мы инициаторы. Работали охотнее, чем всегда.

Чрезвычайное происшествие, как это бывает, свалилось нежданно-негаданно: в группе Миниры Аглиуллиной пало двое телят. Вроде бы случайность: простудились. Но факт есть факт. Заведующий фермой готов был волосы на себе рвать: как же недоглядели. Сидели притихшие в комнате отдыха для доярок, молчали. Зифа проронила:

— Да, теперь скажут: вот, мол, инициаторы, ферма коммунистического труда.

— Так случайность же, случайность, — твердил заведующий фермой.

— Жалко Миниру, переживает, — вздохнул кто-то из женщин.

— Что будем делать?

Ну что такое партгруппа всего в шесть человек и

что такое ферма в масштабах колхоза, и круг ее дел, и что вообще за трагедия: пали двое телят? Но надо понять доярку, которая встает чуть свет и больна ли, здорова, снег ли за окном и замело дом по самую крышу, а она бредет на ферму, захолодевшими руками отдирает промерзшую дверь и мотается по ферме с подойником, а злосчастного этого теленка, как дитя, поит из соски, нянчится с ним, ставит на ноги, захлебывается слезами, если он приболел, а дома лишней минуты не посидит, бежит на ферму: как он там? И еще бы влезть в шкуру заведующего фермой, которому по ночам снятся привесы и надои. А председатель колхоза? Будет ли план по животноводству? А как бы побольше мяса сдать государству?.. Так все в нашей жизни, потому что из частичек того, что делает каждый из нас на своем посту, и складывается то, что мы называем высокими словами: материальной базой коммунизма...

Так размышляла Зифа, возвращаясь домой. Конечно, думала она, то, что произошло сегодня на ферме, — случайность. Вернее, можно считать случайностью. И у нее могло такое произойти. А Минира — самая близкая ее подруга. Выходит, все в порядке? Нет, не все...

Как много в деятельности любой партийной организации (в партгруппе в том числе) зависит от секретаря, в данном случае от групорга, от его политической зрелости, бескомпромиссности! Но все эти качества не даются с должностью. Они складываются из фактов, наблюдаемых в жизни человеком. Фактов порой мелких, на которые вроде бы и не обратишь внимания, но они сами по себе отложатся, если у человека острый глаз, жизненный опыт, способность ощущать почти невидимое, увидеть не присматриваясь.

Все мысли сейчас у Зифы об этом ЧП. А память подсказывает.

Старый коммунист Назми Галиев встал как-то на собрании и сказал парторгу: «Плохой ты коммунист, Бектемир, если не заботишься о доярках». После собрания секретарь подошел к Галиеву: «Правильно ты меня. Грубо, правда, но по делу».

Секретарь райкома сказал как-то: «Сроки уборки жесткие, но мы обязаны их выдержать, иначе какие же мы коммунисты...»

Кажется, самые разные факты, но они проходят теперь чередой перед бессонными глазами Зифы. Отложи-

лись в памяти, незаметно стали мерилом отношения ко всему происходящему.

Окна еще темны. Мать заворочалась:

— Ты бы хоть минутку поспала.

— Я уже встаю, мама. Пора на дойку.

Зашипели часы на стене, звякнули четыре раза.

Днем Зифа была в правлении, но никто не знал на ферме, о чем и с кем она говорила.

В одиннадцать они закончили вторую дойку и пошли помогать на строительство овощехранилища. По дороге Абдулла, муж Миниры Аглиуллиной, потянул за рукав:

— Зифа, разговор есть.

Приостановились, сели на бревно. Абдулла закурил, сказал:

— Минира переживает... Телята эти, черт бы их...

— Думаешь, я не переживаю? А другие?

Абдулла ничего не ответил, затянулся крепко, не глядя на Зифу, спросил:

— Говорят, на парткоме будут обсуждать этот вопрос.

— Будут, Абдулла, будут. Я предложила.

— Ты?!

Не слушая Абдуллу, Зифа сказала:

— Всех нас будут обсуждать, всю ферму.

— Нет, не всех, а Миниру, потому что телята из ее группы, — Абдулла зло затоптал окурок. — «Обсуждать, обсуждать»! А для чего? Ну пал теленок — вычтите за него сколько надо. Было ж так раньше. А то — «обсуждение»...

— Зима на глазах, и надо в кулак собраться. А на других фермах как? Всем надо собраться. Понял?

— Выходит, мою Миниру вроде бы как для примера.

У Зифы болела голова, пересохло во рту: может, оттого, что ночь не спала, может, нездоровилось.

— Не кипятись, Абдулла. Так надо. Иначе какие мы с тобой коммунисты, если под ноги каждый из нас будет смотреть. Слышал, на первой ферме до очковтирательства дошло? Не слышал. Мусакаев специально оставил участок под викой и овсом, а перед взвешиванием напичкают молодняк до отвала, вот тебе и рекордные привесы.

— Но при чем тут мы? — вскочил Абдулла. — Минира при чем?

— А ты подумай.

Закуривая новую сигарету, Абдулла горько сказал:

— И ты тоже подумай. Минира ведь тебе как сестра.

Он ушел. А Зифа сидела и плакала...

Вот как все складывается в жизни. По крупице, по черточке, по малой доле из того, что западает в душу, неприметно выстраивается личность. Абдулла Галиев, который только что ушел в сомнении, еще не знает, что сам он скоро будет избран партгрупоргом, и, если случится трудная ситуация, как сегодня, к примеру, это ЧП, может, он так же вспомнит эту бескомпромиссность Зифы, как сама она бессонной ночью вспомнила тех, на кого хотела походить в жизни.

А Минира, попавшая сегодня в беду, она тоже переживает и многое познает впервые и, глядя на Зифу, у нее перенимает по частичке и твердость характера, и первые крупицы опыта: они ведь так нужны сегодня в жизни комсомольскому секретарю. И многому учится сегодня Минира у Зифы, во многом хочет быть похожей на нее. Вот переписала себе в записную книжку крылатые ленинские слова:

Жить в гуще.
Знать настроения...

Вот так все складывается в жизни...

Через несколько дней после заседания парткома, на котором обсуждали случай, происшедший на второй ферме, Зифа заболела, и ее положили в больницу. Навестить ее первыми пришли Абдулла с Минирой. Они говорили про дела на ферме, про домашние свои новости. И только ни слова — про заседание парткома. Нет, они не уходили умышленно от этого разговора. Просто не о чем было говорить, потому что они поняли: правота была на стороне Зифы. Ведь там, на заседании, она так же несла ответственность за ЧП на ферме, как и Минира. Более того, важный и серьезный разговор был о положении на других фермах, о подготовке к зимовке всего колхозного животноводства.

Прощаясь, Минира шепнула Зифе:

— Переменилась ты...

— Постарела?

— Нет. Просто переменилась.

Когда они ушли, Зифа достала зеркало из тумбочки, долго гляделась, но перемен никаких не нашла.

А они были, эти перемены. Как-то сидели в парткоме, и секретарь Гафуров пожаловался:

— Замучила меня учеба. В шестьдесят четвертом ушел из юридического, с четвертого курса. Ничего, думал, проживу, среднее-то образование есть, и ладно. Ан нет: жизнь жмет. Куда ни кинь — все с образованием. К примеру, все наши специалисты. И не то чтоб там неловко: вот, мол, секретарь, а недоучка. Говорить с людьми все сложнее. Знают много. А иной такой вопрос подкинет, что только затылок почесываешь...

Этот разговор был давно. Но он запал в душу Зифе. Все чаще стала она примечать, что и у нее на ферме доярки с десятилетним образованием и многое знают из того, о чем ей понаслышке известно. Если б только это! Зайдет ли речь о каких-то экономических вопросах, она и тут несильна. Все чаще теребит она брата: достань мне книжку, принеси журнал. «Это для тебя сложно». — «Осилю». Кроме занятий в политкружке, сидит еще долго, «осиливает» политэкономию, читает статьи в журнале.

Она теперь сама чувствует, что на многое, что происходит на ферме, в колхозе, во всей ее жизни, она стала смотреть другими глазами: шире, глубже.

* * *

Не от боя часов, не оттого, что материнская рука тронула за плечо — просто по давней привычке Зифа на рассвете отрывает голову от подушки и видит белеющий снег за окном.

— Ой, на дойку опоздала! — вскрикивает она, спускает ноги на пол и только тут приходит в себя: она ведь не дома, она в райцентре — приехала на совещание партгрупоргов. «Ложись спать, Зифа, — говорит она себе самой, — у тебя впереди еще много-много дел...»



ЧИНГИЗ

Его книги переведены на многие языки мира.

Его дом во Фрунзе почтальон посещает несколько раз в день с тяжелой сумкой.

По повестям и рассказам его снимают фильмы.

Первую его повесть назвали самой прекрасной на свете повестью о любви.

А сам Чингиз остается простым, скромным человеком.

Он широкоплеч. У него крупные черты лица, густые широкие брови. На первый взгляд несколько флегматичен, медлителен в движениях. Но это первое впечатление обманчиво. Однажды под Москвой мы катались на лыжах.

— Хочешь гонку? — спросил Чингиз.

Зная, что в Киргизии особенно-то на лыжах не разбежишься, я решил, что вряд ли Чингиз хорошо ходит на лыжах, и потому сказал:

— Гонку? Давай!

И мы пошли проторенной лыжней. Он обогнал меня уже через триста метров. Шел быстро. Не то чтоб хорошо, технично, но быстро.

— Где ж ты успел так? — удивился я.

— А нигде. Сам по себе, самоучкой, — и засмеялся. Потом добавил серьезно: — Захотел, вот и научился...

Конечно же, тут воля, упорство, воспитанные в себе самом с детства...

Как становится человек писателем? Как и где угадывается в нем та самая «искра божья», которую люди потом назовут талантом? Как все это бывает?

Ему чуть больше сорока.

Это много?

Совсем нет. Тем более если учесть, что в свои сорок лет этот человек достиг мировой славы. (Не побоимся этого слова — ведь его книги в самом деле разошлись по всему миру. Я сам видел в его доме целый шкаф книг, изданных на самых разных языках. Но о его быстром писательском взлете мы еще поговорим.)

Итак, его родина — глухой киргизский аил Шекер в Таласской долине. Он окончил шесть классов, но жизнь была такой трудной и неустроенной, что учебу пришлось бросить. Пошел работать секретарем в сельский Совет. Летом был учетчиком в полеводческой бригаде, работал на комбайне. Потом, много лет спустя, он уже другими глазами (а может, наоборот, глазами мальчишки) увидит это до мельчайших деталей и опишет все до травинки, до последнего камешка под водой на перекате в своей повести «Джамиля».

А пока... Пока он работает и через год осенью опять пойдет в школу. Война легла тяжкой ношей на плечи. В далеком киргизском аиле в ту тревожную пору будто теснее сдвинулись горы, будто кто-то пригнул к земле плоские крыши мазанок. Темнее, теснее стало в аиле. Но светило солнце и росла трава.

В школе готовили к постановке «Ревизора» Гоголя. Учительница сказала:

— Ребята, вы должны знать хорошо текст, а уж кто какую роль будет играть, я вам позже скажу.

Чингиз всю пьесу вызубрил наизусть. Дома ли, в степи, на скотном дворе, он переиграл сто раз все роли. И все ему удавалось. Играя для самого себя эти роли, он не переставал изумляться человеческому разуму, сумевшему воплотить на бумаге характеры, судьбы людей так, как бы они жили рядом с ним...

Наступил день распределения ролей. Учительница называла:

— Ибрай, ты будешь городничим. Саттар — Добчинский. Кенес, ты — слуга Осип...

Все роли были распределены. И только одному Чингизу ничего не досталось. Переминаясь с ноги на ногу, он готов был расплакаться от обиды. Тогда учительница сказала:

— Есть для тебя роль. Ты будешь играть полицейского.

Неважно, что в этой роли не надо было произносить ни одного слова. Главное было в том, что Чингиз стоял на сцене в солдатской шинели, подпоясанной широким ремнем, и в трофейной зеленой каске... Было важно: счастлив, что соприкоснулся с великим творением Гоголя.

К художественному произведению, к книге у него было особое чувство. Он сейчас так рассказывает о том времени:

— Я всегда с трепетом, с благоговением брал в руки книгу, как нечто действительно святое. Для меня в ту пору не было плохих книг, я восхищался каждой буквой, а человек, написавший книгу, мне неизменно представлялся только таким, как Пушкин и Толстой...

С тех детских школьных лет запала мечта о писательском труде. Впрочем, вначале был обычный урок литературы. Дали задание написать сочинение о по-

граничниках. Чингиз никогда не видел заставы, но чуть ли не наизусть знал книжку о подвигах знаменитого пограничника Карацупы. И вот уже в воображении возникли и застава, и пограничники, и бой на границе. Это было чудо, изведанное им впервые в жизни. Он забыл, что сидит за партой, в классе: он был там, на границе, рядом с пограничниками. Все это легло на бумагу.

Через два дня учительница сказала:

— Чингиз, ты хорошо написал сочинение — читать было интересно.

Одобрение запало в душу. Так зародился первый проблеск мечты. Проблеск очень смутный, очень еще неясный.

Длинные военные зимы тянулись долго, как и сама война. Он коротал их за книжками. Он читал. Читал и думал. В нем рано сформировались точные и бескомпромиссные представления о добре и зле, о ценности человека, о долге.

В ту пору был такой у него в жизни случай. Вернее, услыхал он об этом случае от старухи соседки. Рассказывая, как ее сын, уходя на фронт, отдал свой полушубок незнакомому мальчишке из эвакуированных, она подчеркнула: не то, мол, даже хорошо, что сын отдал бескорыстно полушубок, а то, что мальчишка поймет: долг каждого человека — делать добро другому. Если поймет — человеком вырастет...

Спустя годы он опишет этот случай в повести. А после одну из статей своих назовет «Человек у человека учится добру». И это не случайно — именно эти слова в значительной мере определяют жизненную концепцию самого писателя...

Ему много пишут. Письма эти пачками лежат на его рабочем столе. Я спросил: что, он не успевает отвечать на них?

— Нет, — сказал Чингиз, — на все эти я ответил. Когда я работаю и вижу эти письма перед собой, мне кажется, стоят передо мной люди, для которых я пишу и живу. Ведь это люди, судьбы.

Взял одно, прочитал вслух: «Ваша «Джамиля» буквально поставила меня на ноги. Я забыла про все свои печали и горести». Это пишет женщина из Якутии.

Стол его у самого окна. За окном в солнечном сиянии белоснежные вершины Ала-Тоо.

Я думал о том, как велика роль литературы... Какая сила таится в книге. Разговор у нас зашел о русской классической литературе, о ее колоссальном влиянии на развитие революционной мысли в России.

— Ленин высказал глубочайшую мысль о том, — говорил Чингиз, — что эпоха подготовки революции в России выступила благодаря гениальному освещению Толстого как шаг вперед в художественном развитии всего человечества.

Герцен, Тургенев, Чернышевский, Толстой, Достоевский, Горький... Не от них ли, русских писателей, та неизбывная привязанность Ленина к Родине, любовь к русскому языку, блистательно обогащенному самим Лениным в его многочисленных трудах, то беззаветное желание видеть Россию счастливой, достойной, свободной страной... И сегодня, говоря о Ленине, мы по праву истины и справедливости отдаем дань благодарности русской классической литературе за ее огромную силу революционного воздействия на массы.

Заговорили о киргизских прозаиках.

— Честное слово, это явление. Понимаешь? И далеко, я бы сказал, не местного значения — ведь у киргизов своя письменность появилась всего сорок с лишним лет назад. И уже смотри, сколько талантливой молодежи.

Разумеется, о себе он не сказал ни слова. Я могу добавить: «Джамиля» Чингиза Айтматова по числу изданий встала рядом с книгами Шолохова и Хемингуэя...

У него много друзей. Во Фрунзе я часто видел, как он расхаживает где-нибудь в скверике или просто на улице. Ходит взад-вперед, заложив руки за спину, разговаривает с кем-то из друзей. Он любит эти встречи и разговоры на улице под открытым небом, на виду у всех. Сколько знаю его, ни разу не замечал у него в руках записной книжки. Но зато всегда видел пытливые глаза: в них откладывается все накрепко.

Однажды спросил у меня:

— Ты замечал, что камни под водой напоминают человеческие глаза?

Я сто раз видел эти камни на дне горного ручья.

И ни разу не запомнил. А в повести «Прощай, Гульсары!» прочитал об этом поэтические строки.

...Что еще хочется знать читателю о писателе?

Какой он человек в личной жизни?

Отличный, уживчивый, добрый.

Какой товарищ?

Верный. Надежный.

Как работает?

— Как работаю? — переспрашивает он меня. — Сажусь и пишу. Потому пишу, что не писать не могу.

Над чем работает?

— Написал новую повесть. О чем? Прочитаешь — узнаешь.

Вот в этом он человек особого склада.

— Не люблю разговоров о творческих планах. Главное, по-моему, не то, когда написал, а что написал.

Этот разговор у нас был незадолго до того, как на одном из пленумов Союза писателей он сказал:

— ...Жизнь познакомила меня с разными людьми. И я на стороне тех, кто по-мужски пережил наши общие беды, смог соизмерить свою судьбу с судьбой народа и партии. Я на стороне тех товарищей, которые поднимали сельское хозяйство, колхозы и колхозников. Только за это одно я готов служить партии правдой и верой, потому что я знаю, что было в колхозах и что стало...

Мы возвращались из Кремлевского Дворца съездов, и Чингиз был задумчив.

— Эх, в горы бы сейчас, на джайлоо, — вздохнул он, — побродить по траве за отарой...

— Так что тебе мешает?

— Работать надо. Впереди столько работы...



СТРОГИЙ ШОФЕР

В те дни много писали о перекрытии Ангары. Промелькнула в газетах фамилия шофера Долганова. Я сразу подумал — не тот ли это Долганов, который был когда-то на строительстве Братской ГЭС...

По пути на юг как-то приехал знакомый из Усть-Илима — Василий Тубалов. Шофером работает на строительстве ГЭС. Спросил у него про Долганова.

— Вы знаете Долганова? — обрадовался Василий. — Как же, он самый и есть. Можно сказать, мой второй отец... Такая история вышла. Решил я в партию вступить. Нужны рекомендации. Стал я думать, к кому же мне за рекомендацией обратиться. Одну мне райком комсомола дал. Две другие от коммунистов требуются. Хоть я и комсомолец, а товарищей среди коммунистов у меня много — шоферы народ дружный. Но ведь рекомендации — дело ответственное. Думаю, попрошу Соболева Ивана. Был у нас такой. Добрый по характеру мужик. Пожилой. Если что не так — ладно, говорит, пусть покуролесят ребята, молодые, мол. А то, может, к механику Трофимову обратиться? Тоже человек ничего, принципиальный: шофера в обиду не даст. Или к Володе Солохе. Мой напарник. Свой в доску парень. В армии в одном взводе служили. Можно и к Долганову. Хотя нет. Больно строг. И задумался я: а хорошо это или плохо, что очень строг был со мной Долганов?..

Жил на свете хороший такой человек — Михаил Васильевич Долганов. Работал шофером в Иркутске. Работа не то что беспокойная, но привычная. И так, может, вся бы жизнь прошла в Иркутске. Но вот однажды на партийном собрании сказали:

— Строится новая ГЭС. Братская. Шоферы нужны. Кто поедет?

Молчат все. Думают. И Долганов тоже думает. Потом поднимается с места.

— Я поеду.

Тяжело поднимается Долганов. Потому тяжело, что и правда нелегко расставаться с местом, где ты родился, бросать дом, который собирал по бревнышку. Да и лет ведь немало, и семья...

Холодной слякотной осенью жили в Братске в палатках. Это только поначалу молодым все казалось романтичным: тайга, палатки, мыс Пурсей. Это Василий Тубалов, разбитной паренек в кирзовых сапогах, в бушлате с только что споротыми погонами, это он поначалу смотрел кругом широко открытыми восторженными глазами. И он же первый сказал, отдирая утром примерзший полог двери:

— Да когда же это все кончится? Шоферы мы или землекопы?

Машин пока не было. Шоферы были заняты на земляных работах.

Долганов слушал Тубалова, ворчливую перебранку других шоферов и думал: что поднимало людей на фронте в атаку против хлещущего свинцового огня, против грохочущих танков? Долг? Верность присяге? Любовь к Родине? Любовь к жизни? Да, все это вместе взятое. Они не говорили громких слов. Они шли первыми, потому что были коммунистами. Потому что они были бойцами партии Ленина.

— А вот я не коммунист, — горячился Тубалов, слушая рассказы Долганова о войне, о фронтовых друзьях. — Я, так сказать, простой советский человек. Но я тоже хочу совершить подвиг.

Долганов вытирал пот со лба, ватник на спине дымился у него испариной, и отвечал Василию:

— А подвиг — это значит совершить невозможное. Невозможно долбить землю в сорокаградусный мороз. Но надо. Иначе к зиме мы без жилья и без гаража останемся.

Он остановился, чтобы отдышаться.

— Тяжело?.. — уже участливо спросил Василий.

— Проживешь с мое, узнаешь... — улыбнулся одними глазами Долганов и ушел, чуть сутулясь.

Долганов первым просыпался в палатке и первым будил Василия. Если Василий потом ворчал, ребята говорили ему:

— А почему ты встал — спал бы...

— Долганов ведь поднялся. Чего же, он один будет работать, что ли?

Потом им дали машины. Непривычный к стуже Василий (приехал он в Братск с юга) мучился, по утрам не мог запустить мотор. Уже все уедут, а он стоит. И Долганов тоже стоит.

— У вас-то что? — спрашивает его Василий.

— Так, пустячок, — отзывается Долганов и кричит: — Эх ты, голова садовая, краники опять забыл отогреть.

Он щадит самолюбие Василия и потому не подходит к его машине. Он наблюдает издали и все видит. И подсказывает. Он из-за него и остается-то, хотя мог

бы выехать первым. Но ничего этого Василий не знает...

Потом вечером наедине Долганов долго будет выговаривать Василию за эти злосчастные краники. А Василий будет сидеть в углу и дуться: «И чего он ко мне прицепился...»

И назавтра и много позже Василий забудет, может быть, подогреть масло, прежде чем залить его в картер, но про краники он не забудет. И вообще, готовя машину к рейсу, он тщательно осмотрит все, чтобы не попадаться на язык «этому старому ворчуну» Долганову. А потом этот тщательный осмотр машины незаметно станет для него привычкой. Но он уже не будет помнить, чем обязан старому шоферу Долганову. В молодости такие вещи легко забываются...

Так они жили, колесили на своих «МАЗах» по занесенным снегом дорогам, по непролазной грязи весной, видели перед собой за ветровым стеклом дорогу и две глубокие, выбитые скатами колеи. Четыре километра туда и обратно: в карьер за диабазом и обратно к тому месту, где во льдах пробита зияющая пробоина, в которую они валят день и ночь камень — насыпают перемычку.

День и ночь гудят на дорогах машины. И шофер, сжимая в руках баранку, всматривается вперед воспаленными от бессонницы глазами. Он видит только дорогу. По ночам Василию снится дорога. И глухой гул моторов. Однажды он проснулся и увидел: это не моторы гудят, это уже гудит стройка.

На общем собрании всех шоферов автобазы выступил Долганов и сказал:

— Я считаю, что комсомольская бригада нуждается в серьезной помощи. Лично я берусь помогать трем молодым шоферам.

Бригада зашумела. И первым Василий Тубалов.

— Придирки, — кричал он с места, — наша бригада работает лучше долгановской. А время буксиров прошло.

— Сами с усами, — поддерживали его ребята из бригады.

Старый шофер дядя Ваня Шалунов, сидевший в президиуме, не поднимаясь, спросил простуженным басом:

— А кто сказал, что бригада Ващенко работает плохо? Она может и должна работать лучше. Тем бо-

лее что скоро перекрытие. Я тоже берусь помогать двум-трем молодым шоферам.

Долганов в числе других взялся помогать и Василию. Тот только ежился: он ведь знал, что Долганов слышал его реплику: «придирки». Долганов сказал ему:

— Половы, братец, у тебя много. Знаешь, когда зерно веют, полова — в сторонку, а зерно чистое остается. Так и с тобой...

На стройку прислали новенькие машины. Шоферы ходили вокруг них, приглядывались, цокали языками:

— Вот это махина!

— Кому дадут?

— Лучшим, конечно. Передовикам.

Предложили Долганову. Он отказался.

— Пусть вон хлопцы на них ездят. У них совсем старые «МАЗы». А у меня еще малость потерпит...

«Чудак человек, — недоумевал Василий. — От такой техники отказаться!» А когда попробовал было Василий выпросить себе новую машину, Долганов хмуро сказал ему:

— Ты кого же обмануть хочешь?

Разные чувства борются в душе у Василия. С одной стороны, прав Долганов, машина у него не такая уж развалина: у других еле-еле ползают. Но, с другой стороны, вон у дружка Сереги мотор как зверь в машине, а он новенькую выпросил...

Как часто слишком поздно мы начинаем разбираться в этих противоречивых чувствах. И много позже по-настоящему оцениваем то хорошее, что делает для нас человек, старший твой товарищ, стоявший в комсомольской юности рядом с тобой... Вот так же много времени спустя понял это и Василий Тубалов, в тот самый памятный день, когда перебирал в памяти коммунистов, у которых он хотел бы попросить рекомендацию в партию. И выбрал самого строгого — старого коммуниста Долганова.

...Потом было перекрытие Ангары. Машина Долганова, украшенная кумачом и цветами, шла первой во главе колонны. Первую бетонную глыбу бросил в Ангару Долганов. Он работал четырнадцать часов без передышки. А пришел к Василию и сказал:

— Может, это последнее в моей жизни перекрытие. Помнишь, мы с тобой как-то о подвиге вели речь...



СОЛЬ

Пусть это звучит наивно. Но человек-то Волошин простой, прямой и бесхитростный. И если, бывает, выдается сложная ситуация в его жизни, он скажет самому себе: «А как бы Ленин при этом поступил?» И сам же себе ответит: «Принципиально бы поступил Владимир Ильич...»

А все началось с соли... Щепотку соли человек знает в повседневности своей. А тут ее горы. Везут соль по Каме снизу, от Астрахани. В Заостровке, под Пермью — перевалка. Голенастые краны бессменно таскают ту соль из трюмов столпившихся у причалов барж. А на пирсе коротенькая гусеница вагонов приткнется к подножию белой громады, наполнится, и от горы убудет самая малость...

Потом падут дожди. Потом мороз заледенит те белые горы в стеклянный панцирь. И тогда начинают ходить по перевалке деловитые женщины. Белыми полосками бумаги заклеивают окна. Крест-накрест. Как в войну.

И все стихает. Ждут взрыва...

Волошин пришел напиться воды. На грейферной площадке у краснобокого автомата одиноко сидел слесарь Шленчик, сухой, с темным морщинистым лицом.

— Ты чего это вроде бы не в себе? — приглядываясь к нему, спросил Волошин.

— Нет, ты скажи мне, — встрепенулся Шленчик. — Что ж это выходит: соли вон горы, а ее, слышь, все прут и прут.

— Не знаю, Иван Иванович, не знаю.

— А я знаю, — загорячился Шленчик. — Главное начальство далеко, ему этих гор соляных не видно.

— Ну а неглавное? — спросил Волошин так, чтобы что-нибудь спросить.

— Неглавному это дело до лампочки. Лишь бы флот не простаивал. План перевозок выполняется, а там хоть трава не расти.

— Мне б твои заботы, — устало сказал Волошин.

Он уже седьмой год наблюдает эту картину: летом соль валят с Камы, отгружать не успевают. А в зиму ее ничем не возьмешь — приходится рвать и потом грузить в вагоны... Только этих забот Волошину еще недостает. Работает он мастером в грейферной бригаде. Ремонтируют захватные приспособления. В основном ковши к кранам. Бригада — девять мужиков. Трое коммунистов. Он, Волошин. Бригадир Потинов Петр Степанович, деловитый степенный человек. И шестидесятилетний Иван Иванович Шленчик. Трое их всего. Но ведь это как пальцы на руке, если сами по себе. А сожмешь в кулак — сила. А то еще Волошину построже думается: мы, выходит, частица партии. Но такое приходит на ум, когда дела в бригаде ладятся...

Сегодня сидит он с хмурым лицом. Опять не вышел на работу сварщик Николай Абашев. Значит, опять запил. Значит, опять придется после работы домой к нему идти. А дорогу ту на «девятке» до остановки Школьной Волошин как к себе домой знает — сколько езжено-переезжено. Но человека не бросишь...

— Вот так-то, — сказал он вслух.

Шленчик обернулся, переспросил — не расслышал. Шленчик туговат на ухо. Это с давнего. Молодость прошумела на Черниговщине вся в славе первого человека на деревне. Начинал на ЧТЗ. На том ЧТЗ и первый бой в сорок первом принял. Трудный был бой. Долго и далеко отходили... Уже в сорок втором по весне сдал с болью тот ЧТЗ (как коня с собственного двора) девчатам где-то в воронежском колхозе. А сам теперь двинулся уже на запад. По аэродромам. Опять в грохоте моторов. Там и слуха лишился.

В сорок четвертом, как раз в партию приняли, вызывает начальник аэродромной службы:

— Ну что, отвоевал свое, Шленчик?

— Никак нет, товарищ майор.

— Говорят, со слухом у тебя того.

На что Шленчик рассудительно ответил:

— Мое главное дело — мотор. А я его нутром чую. Руку положу на карбюратор и все как ни на есть чую.

Он был тогда солдат что надо: при любом морозе рукоятку рвал с одного раза. Оставили. Как начал войну рядовым, так и кончил. Одного хотел — чтоб скорее

война завершилась и дали б ему новый трактор или по крайности тот его ЧТЗ вернули — порушенное войной хозяйство поднимать.

Теперь вот тут он, слесарем...

— Петрович, слышь? — нарушает молчание Шленчик. — Гаврилов меня вызывал. (Гаврилов — это начальник перевалочного района.)

Волошин настораживается:

— Что говорил?

— Предлагал сторожем.

— Ну и что ж, полегче.

В голосе старика затаенная обида:

— Выходит, меня в тираж?

Волошин вертит в руках старую соломенную шляпу с захватанными полями: да, заботиться о человеке тоже надо с умом.

— Ну вот, обиделся, — говорит он, — я же сразу вижу — что-то у тебя на душе. А ты мне про соль. С этой солью вон сколько лет карусель.

Шленчик поднялся и, внимательно глядя на Волошина, сказал:

— Это как же я в сторожа уйду, Петрович, ежели такая тут, слышь, карусель?

Ничего не ответил на это Волошин. Ни слова не проронил. Только задумался.

В мае у них вышла промашка. Как всегда, сольлизунец прибывала в середине лета. Но тут вдруг бах — досрочно. А у них грейферы не готовы на пятитонный кран.

Бригадир Потинов схватился за голову. Но Волошин спокойно сказал:

— Надо собрать коммунистов.

Третий из них, Шленчик, был неподалеку. Собрались, решили: «Коммунисты останутся и будут работать, пока не подготовят грейфер». И тут поднялся сидевший неподалеку Николай Абашев и сказал:

— Я, конечно, понимаю — вы коммунисты. А мне можно тоже остаться?

Это было так неожиданно со стороны Абашева, что партгрупорг после минутной настороженности сказал:

— Кто, товарищи, «за»?

И первым поднял руку.

Они до самой полуночи возились с грейфером. Потом помогли его навесить на кран. Домой шли в хорошем

настроении. И Волошин, искоса поглядывая на Абашева, шагавшего рядом, подумал: вот тут человек поднимается, а ты мне, Шленчик, понимаешь, про соль...

Но на соли они работали, и от нее никуда не деться. И ты хоть глаза закрой, но открывать-то надо. А откроешь — вон они, целые горы. Раньше в грейферной бригаде как было? Выйдет из строя ковш — приволокут его на площадку, тут возьмутся, отремонтируют, и делу конец. Сидят покуривают. Коммунисты решили дело поставить по-другому: надо еще и следить за работой механизмов. И теперь, глядишь, стоит Иван Иванович Шленчик, отчитывает кого-то за то, что тот грейфер гробит. Или бригадир на площадке потом поясняет:

— Крановщик неопытный: ковш не раскрывался. Пришлось повозиться. Оказалось, что трос был неправильно закасован.

Такая постановка работы много дала. Реже стали грейферы выходить из строя. Срок службы продлился. Это был как раз тот случай, когда Волошин сказал о своих товарищах высокими словами — частица, мол, партии. Удалось, значит, кое-что сделать.

Это только на первый взгляд кажется — чего проще, всего-то три коммуниста. Но, уверяю вас, это только кажется, что просто...

Как-то Волошин увидел, что молодой крановщик Попов выгружает гипс чистопольским грейфером. Он похолодел от ярости: ведь через два часа грейфер полностью выйдет из строя.

— Ты что же это, сукин сын, делаешь? — закричал он, грозя кулаком.

— Судно давно стоит под разгрузкой, сколько ж еще. Я хотел как лучше, — оправдывался Попов.

— Я тебе дам — лучше. А ну давай перецепляй грейфер.

Врал Попов — не лучше он хотел. Лень было грейфер менять. Волошин, когда прошел гнев на крановщика, подумал о другом. Вот как придумано: один грейфер для одного груза, другой — для второго. Вот так бы и в партийной работе — так тебе поступать в этом случае, а так — в другом. Но как трудна и многообразна работа даже в такой малости, как у него в партийной группе. Что делать с Абашевым? После того случая в мае, когда вызвался остаться вместе с коммунистами,

взялся было за ум. Теперь опять выпивает. А как механизировать труд на площадке? Какими мерами газосварщиков подтянуть? А тот разговор со Шленчиком о соли? Он, Волошин, тогда отмолчался. А может быть, напрасно? Иногда бригадир Потинов скажет:

— Зачем нам еще эта маета, Михаил Петрович? Наше дело захватные приспособления, а про соль пусть думают те, кому это положено по чину.

Нет, разве ему, Волошину, это не положено?

Волошин пришел в Заостровку еще в пятьдесят третьем. Работал мастером на земснаряде. На этом месте было болото, а они гнали сюда песок, намывали грунт. Не верилось, что будет тут порт. А он вон какой вымахал. Сейчас соль, проникая в почву, ослабляет грунт. Тот самый, который он, Волошин, тут намывал. Сколько с этой Заостровкой связано! На собрании, когда в партию принимали, парторг сказал: «По партийному стажу ты, выходит, ровесником будешь порту».

Соль эта, как говорится, уже в печенках сидит. Ах, зачем ему, в самом деле, эта соляная маета? Его дело — грейферная площадка.

Было тогда открытое собрание партийной группы. Обсуждали текущие дела. Собрались всей бригадой прямо на берегу, за столом, врытым в землю. Говорили долго, обстоятельно о том, что сделано за полгода. А все складывалось по малости, по камешку. Каждый свое внес. Но вот что еще может бригада? Очень нужен пресс для правки челюстей грейферов. Можно самим смонтировать? Можно. Волошин с бригадиром были с этими наметками у начальника района Гаврилова. Обещал помочь...

Ну что ж, коммунист Волошин, не так уж плохи твои дела. Вот пресс для правки челюстей уже смонтировали. Кажется, налаживается жизнь у Николая Абашева. Бригада грейферная на хорошем счету. Только отчего же опять не спится тебе по ночам, отчего одолевает тебя та проклятая соляная маета?

— ...Уходишь, значит?

— Ухожу, Петрович, — грустно подтвердил Шленчик. — Пенсию дают.

— Швах дело.

— Что? — не расслышал Шленчик.

— Плохо дело, говорю, — в сердцах почти закричал Волошин. — Мало нас остается, коммунистов: бригадир да я.

— Так я с учета-то не снимусь, — сказал Шленчик, — надо кончать эту карусель с солью.

Конечно же, ни Волошин, ни тем более Иван Иванович Шленчик не имеют прямого отношения к той соли. Но почему же мается по ночам Волошин, бегает по начальству: надо что-то делать? Переживает за Гаврилова, который названивает повсюду, выбивая порожняк. Почему, даже уходя на пенсию, не снимается с партийного учета старый слесарь Шленчик? Они сидят рядком, и Волошин говорит Шленчику по своей привычке высоким слогом:

— Слушай, Шленчик, а как бы, скажем, в этом случае Ленин Владимир Ильич поступил? Ну, не с солью, вообще. Я думаю, принципиально бы поступил... Нет, добить это дело с солью надо. Надо решить вопрос принципиально...

Сто тысяч тонн соли осталось в ту зиму от прошлой навигации в Заостровке. Ее рвали, бурили, рыхлили. Выводили из строя технику. Так и не вывезли всю соль до конца. Под открытым небом осталось около девяноста тысяч тонн. Опять муравьем скреблась у подножия белой громады коротенькая гусеница вагонов. Но она забирала по две тысячи тонн в день, на это же место голенастые краны доставали из трюмов еще по три тысячи тонн. А на столе у начальника порта телеграмма: «...Создалось крайне напряженное положение с солью на предприятиях Дальневосточного бассейна. Вынуждены задерживать выход судов на промысел рыбы...»

...Заклеивают окна. Крест-накрест. И все стихает. Ждут взрыва...

Он был, этот «взрыв»: Волошин поднял на ноги весь порт, слал телеграммы в редакции газет, звонил в различные министерства. Ему говорили:

— Не ваше это дело. Кому надо, займутся.

А он твердил:

— Мое это дело.

И добился. Соль вывезли.

...А привычка с тех пор хорошая у Волошина осталась: чуть что, он: «А как бы Ленин Владимир Ильич в таком случае поступил?»



„ДЕРЖИСЬ, КАПИТАН!“

Ему вручили новый партийный билет. Он сидел в приемной секретаря райкома, поджидая товарищей, рассматривал партбилет. Прочитав ленинские слова: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи», — сказал:

— А ведь это, выходит, про каждого коммуниста...

Истурган Уразбаев — человек судьбы любопытной. Вырос на Каспии. Сирота. Родичи — рыбаки. Жил у них с малолетства. Поскольку сирота — берегли его, на тяжелую работу не брали. А тяжелая-то работа — она в море, на промысле. Старый рыбак Биймембетов сказал как-то:

— В море надо. Море из него человека сделает.

Тетка, у которой в ту зиму жил Истурган, возразила:

— Рано ему в море — всего только четырнадцать лет...

Старик, не сказав ничего, ушел. А утром прибежал рыбак, зовет Истургана:

— Биймембетов тебе велел в море собираться.

Первый же выход на промысел чуть не стоил жизни Истургану. Рыбницу их во время ледового сжатия подняло на торос. Снять никакой возможности. Решили ждать утра.

Легли спать, а на рассвете торос вдруг с грохотом стал оседать. Рыбаки кто в чем прыгали на лед. Вода хлынула в пробоины, и тонущую рыбницу понесло в открытое море. Замешкавшийся Истурган в отчаянии метался по палубе. Когда суденышко наполовину уже было в воде, он увидел, как кто-то коченеющими пальцами хватается за борт. Это был Биймембетов.

— Ака, ака! — кричал Истурган. — Это ты...

Они выбрались полуживые на припай, и старик сказал:

— Не меня благодари. Парторгу скажи спасибо: он первым кинулся в воду... Только ничего ему уже не скажешь — утонул парторг...

После того много лет прошло. Он, Истурган, уже не

может вспомнить ни глаз, ни лица того, кто первым бросился спасать его. Запомнилось только — парторгом звали...

Когда пять лет назад прислали нового матроса на сейнер, Истурган спросил:

— Рыбу-то знаешь?

— Нет. Но освою.

Уверенность подкупала. Матрос — это был Туре Сахиев — оказался трудолюбивым, полюбился рыбакам. Они тогда ходили на «Муссоне». Ловили со светом, на подхват. Кильку промышляли. Туре Сахиев с людьми умел ладить. Впрочем, «ладить» не то слово. Он обладал удивительным даром видеть каждого в отдельности и всех вместе. И знал, когда в самую трудную минуту, что кому сказать и как поддержать. Бывало, ошибался, порой был крут.

Случилось однажды — в жестокий шторм они были буквально на волосок от смерти. Один растерялся...

Гром и грохот заполнили все кругом. Они остались двое в каюте, и не было силы, которая могла заставить матроса выйти в этот ад на палубу. А выйти надо во что бы то ни стало, потому что бездействовал насос. Перекрывая грохот, Туре закричал:

— На палубу!

— Иди ты...

Судно резко накренилось. Матрос, не удержавшись, полетел прямо под ноги Туре, сбив его на пол. Но тот схватился, как кошка, и рванулся из каюты, толкая впереди себя матроса. Налетевшая волна ударила Туре в грудь, он задохнулся и полетел в пропасть. И, скользя по палубе, хватаясь одной рукой за металлические леера, другой не выпускал барахтающегося матроса. Волна схлынула. Подняв помертвевшего матроса, Туре закричал:

— К насосу! Слышь, к насосу...

Утром, переживая происшедшее, Туре терзался: «Что ж это я нес вчера: кричал на человека... Нехорошо вышло». Матросу сказал:

— Ты извини, я погорячился... Но разговор запомни...

Вот такой характер у Туре Сахиева, горячий, неподкладистый. Может, потому, что сам Истурган Уразбаев человек спокойный, неторопливый от природы, он по-хорошему завидует умению Туре яростно жить.

Тот если работает на палубе, так у него рубаха трещит на плечах, а уж если чем возмущается, то слышно на всем сейнере. Капитану иной раз скажут в шутку: «У тебя Сахиев в тихую погоду шторм может устроить». Капитан только улыбнется в ответ: «Это ж хорошо, зато ракушками не обрастем...» Он-то знает, что при всем при том у Туре Сахиева трезвая голова. Иной раз море штормит — неподходящая погода, а Туре советует:

— Надо рискнуть, капитан. Погляди, я все обдумал, все рассчитал...

И они возвращались с уловом...

Рядом с Туре невозможно оставаться равнодушным, особенно если он задумал какое-то дело и хочет повести за собой других. Они все еще ходили на старом «Муссоне», а Туре всех поставил на ноги: новый сейнер дадут — надо учиться осваивать лов с помощью рыбонасоса.

— Когда-то еще этот сейнер будет, — пожимали рыбаки плечами. Туре доставал учебники, водил команду по новым судам. (Как им потом это помогло, когда они перешли на новый сейнер «Бекташ»!) Он приносил разные книжки на судно. Заставлял читать. Старый рыбак Абдулла Сартаев, обремененный семьей, взмолился:

— Я тебя уважаю, Туре-ака, но зачем мне это на старости лет?

— Посмотри на себя: я хочу, чтоб ты был культурным человеком.

— Старый я, — твердил Абдулла.

— Да мы все будем жить по сто лет! — И совал книжку, требовал: — Завтра расскажешь мне содержание...

И они учились и читали книжки, листая страницы не сгибающимися от соленой воды пальцами. Знали: раз Туре Сахиев говорит — значит, так надо. Они верили ему, потому что видели: этот человек готов для них на все. Он один среди них коммунист, их честь и совесть...

...Они знали, что идет шторм. Он настиг их далеко в открытом море, у банки Ливанова. Темное небо слилось с темной, в белых клочьях пены водой. Ветер остервенело бил в черные сигнальные конусы. Густой солоноватый воздух переполнял грудь. Истурган с тру-

дом добрался до ходовой рубки. Туре Сахиев, в жестком брезентовом плаще, стоявшем колом, был уже там. Капитан сказал:

— Придется возвращаться на базу.

— Жалко, — сказал Туре, — взяли-то всего центнеров тридцать, а эхолот вон какую рыбу показывает.

Посоветовавшись, решили забросить еще раз трал: уж очень хотелось взять улов побольше. Капитан дал сигнал команде подниматься на палубу. Небо быстро темнело. Волны росли на глазах. «Ах черт, успеть бы до шторма», — подумал капитан.

Выметали трал. За борт полетели кухтыли. Двигатель заработал на полную мощность, сейнер заметно снизил ход, сдерживаемый тралом. Истурган почувствовал неладное, когда крутая волна, ударив в низкий борт, со стоном рухнула на палубу. А когда увидел, как бросился Туре из рубки на помощь рыбаку, сбитому волной, понял, что дело плохо, и сам встал за руль.

Они тщетно пытались выбрать трал. Вой ветра, визг лебедки, скрип мачт, гул моря и падающей на палубу воды — все это слилось в один тяжкий стон. Сейнер охал, касаясь бортом волны. То стопоря машину, то давая ход, без конца перекладывая руль, капитан пытался удержать судно на курсе.

Только успели поднять трал, подцепить на стрелу куток, как новый удар обрушился на судно. Оборвав крепления, за борт, как спичечные коробки, посыпались смытые волной пустые ящики из-под рыбы. Круша все на пути, в воду полетела бочка с мазутом, за ней бухта стального каната. Рыбаки, мокрые с головы до ног, с перепуганными лицами (такого шторма никому еще не приходилось видеть) втискивались в ходовую рубку.

Шторм набирал силу... Истурган с трудом удерживал штурвал, ставя судно на волну. По времени они уже должны были выйти на траверз бухты. Пора было разворачиваться под волну, но капитан знал, как опасен этот маневр в осатанело разбушевавшейся стихии, и все не решался делать разворот. А волна уже с силой била в смотровое стекло, рвалась в дверь. Все, кто был в рубке, стояли молча, тесно прижавшись друг к другу, не спуская глаз с капитана. Каждый сейчас понимал, в какой опасности их судно.

«Пора делать разворот, пора...» А сейнер бросало,

как соломинку в кипящем котле, и казалось, что уже ничто не сможет его удержать в волнах.

Капитан лихорадочно думал о том, что теперь только один человек может помочь ему, даже если он, этот человек, просто будет стоять у плеча. И он закричал:

— Туре-е!

— Здесь я, капитан!

И оттого, что Туре был рядом, капитан стряхнул с себя оцепенение, на минуту завладевшее им, и налег грудью на штурвал. В тот же миг вода накрыла их с головой. Сплошная темная стена встала перед глазами, палуба пошла вниз.

— Держись, Истурган!

Руки Туре с силой вцепились в его руки, до предела сжимавшие штурвал...

...Уже потом, в бухте, когда они пришли в себя и стали приводить судно в порядок, Истурган сказал Туре:

— Худо было бы нам, если б не ты...

Измотанный вконец, Туре, борясь со сном, нехотя отозвался:

— Ну заладил. На руле-то ты стоял...



СЛУЖИЛИ ДВА ДРУГА

Если доведется вам побывать в Москве летом, в последних числах июля, и вы попадете на Красную площадь, обратите внимание на человека, который будет стоять в самом центре площади. Все пройдут дальше, а если кто и остановится, то ненадолго. А этот высокий, скуластый, с сединой в волосах человек будет здесь долго. Я знаю этого человека. Я знаю его историю...

Однажды, отдыхая в санатории, мы завели в своей компании такое правило: по вечерам каждый из нас рассказывал случай из жизни. В тот вечер очередь дошла до новичка, который только-только поселился, и мы еще не успели как следует познакомиться с ним.

— История, которую я хочу вам рассказать, несколько необычная, — начал он. — Но это было. Это

могу подтвердить я, очевидец и свидетель всего происходившего. Одного из героев этой истории звали Байгали. Другого — Рамазан. Впрочем, все начинается с Байгали. Он вырос в детском доме. И еще в детстве у него обнаружился талант певца. Пел он, наверное, неплохо, потому что заезжие артисты из столицы, прослушав его, велели немедля отправить мальчика в консерваторию. Мальчишка о консерватории не мечтал. Ему говорили, что отец его был чабаном и погиб вместе с матерью в степи в пургу. Байгали, как и отец, тоже хотел стать чабаном. Но, как говорится, судьба распорядилась по-другому, и его отправили в Алма-Ату. Три года он провел в консерватории, а перед самой войной его в числе других способных казахских юношей послали учиться в Москву, в национальную студию...

...Поезд шел в Москву. День и ночь. И еще день и ночь. А пути, казалось, конца-краю не будет. Байгали вышел в тамбур, открыл тяжелую вагонную дверь. Вечерний сумрак окутал перелески. Иногда они подступали прямо к полотну дороги, и тогда белесые клочья паровозного дыма путались в ветвях деревьев, в открытые двери врывался ветер. Байгали глядел на лес, на небо, ветер трепал его волосы, и ему хотелось крикнуть что-нибудь березам на обочине, белому домику, промелькнувшему за мостом, голенастой девчонке, гнавшей теленка. Пусть знают они все о том, что он, Байгали, сын Досымжана, едет учиться в Москву.

— Эге-ге! — закричал юноша и помахал рукой. Девчонка остановилась и долго смотрела вслед поезду. Байгали засмеялся и стал напевать популярную мелодию песни «Қзыл-аскер». В тамбур вышел паренек в футболке. Ехали в одной группе из Алма-Аты. Прислонился к двери рядом, стал подпевать.

— Хорошо! — повернулся к нему сияющий Байгали. — И песня хороша!

Паренек пожал плечами:

— Песня как песня...

Байгали обиделся:

— Видать, ты в музыке разбираешься не больше осла, — съязвил он.

Паренек в футболке добродушно отозвался:

— Может быть...

Байгали хотел добавить еще что-нибудь более обидное, но тут пришли ребята и потащили его ужинать.

Спустя несколько дней в Москве, когда руководитель группы зачитывал список выдержавших вступительные экзамены в консерваторию, Байгали услышал фамилию Елебекова.

— Рамазан Елебеков? — удивился Байгали. — Где он?

Кто-то показал:

— Вон там сидит.

Досымжанов поглядел и ахнул, увидев парня в футболке. Это был Рамазан Елебеков, автор популярной песни «Кзыл-аскер».

Потом они познакомились поближе. И когда припомнили встречу в дороге, Рамазан, смеясь, говорил:

— А ты хотел, чтобы я расхваливал свою песню? Знаешь, как говорят: скромность — украшение акына.

И хотя Рамазан занимался по классу композиции, а Досымжанов готовился стать певцом, они крепко сдружились. В тот день, когда началась война, Рамазан сказал другу:

— Байгали, два года мы жили с тобой как братья. Теперь расстанемся. Я старше тебя. Иду добровольцем на фронт.

— Я тоже, Рамазан. Мы ведь оба комсомольцы.

Потом они пришли на Красную площадь. Это было летом. Это было в последних числах июля сорок первого года. Им говорили:

— Товарищи, проходите. Здесь стоять не положено.

А они все стояли. Но, прежде чем уйти, они дали слово друг другу: если кто из них останется в живых, что б ни случилось, где б он ни жил, ни работал, каждый год в последние дни июля в полдень он будет приходить сюда, на Красную площадь...

Они исколесили немало фронтовых дорог. Расставались и опять встречались.

Летним полднем сорок третьего года фашисты выбили их роту из небольшой заречной деревушки, которую они с такими потерями заняли всего три часа назад. В роте осталась половина состава, раненых тащили на себе. Командир роты вызвал Рамазана:

— Придется отходить. Останешься со своими бой-

цами, прикроешь нас. Минут двадцать надо продержаться.

...Двадцать минут. Они держались уже минут десять, а им казалось, что они сидят целую вечность на этом клочке земли у сгоревшей дотла деревеньки. Гитлеровцы пристрелялись, и мины стали ложиться все ближе к окопу, в котором, полузасыпанные землей, лежали Рамазан и Байгали. Казалось, не было живого места на «пятачке», изрытом взрывами. Вышел из строя миномет. Но как только фашисты поднимались в атаку, их встречал пулеметный огонь. У пулемета ослепший от пыли лежал Рамазан.

Потом он подал команду отходить, и в этот момент Байгали почувствовал, как что-то сильно толкнуло его в плечо и руки отказались подчиняться. «Сейчас я немного полежу, — думает Байгали, — и все пройдет».

— Байгали, что с тобой?

Это голос Рамазана. Байгали поднимает тяжелую голову и видит, что они вдвоем с Рамазаном.

— Рамазан, уходи. Мне конец...

Байгали кажется, что он кричит, а с губ его срывается хриплый шепот. Он делает последнее усилие, пытаясь встать, и падает навзничь. «Все...» — шепчет он.

Потом сознание медленно возвращается к нему. Он видит высокое небо над головой и вершины деревьев. Он пытается приподняться, но резкая боль в плече вновь прижимает его к земле.

— Тише, — шепчет Рамазан, настороженно оглядываясь по сторонам.

— Где мы? — спрашивает Байгали и впервые замечает, что в лесу стоит тишина.

— А черт его знает, — шепчет Рамазан, — кажется, у второй линии окопов. — Он вытирает пот с грязного лба. — Ну как, живой? Держись.

— А у тебя кровь на рукаве, — говорит ему Байгали. — Это твоя...

И только тут до сознания Байгали доходит, что Рамазан тащил его на себе.

Рамазан вынес друга к своим. Ранение у Байгали оказалось серьезным, и пошел он валяться по госпиталям. А Рамазан воевал в легендарной панфиловской дивизии. Он был другом славного казахского воина, Героя

Советского Союза Тулегена Тохтарова и погиб спустя несколько дней после смерти Тулегена.

...В этом месте рассказчик опять замолчал. Мы дали ему сигарету и закурили сами.

...В тот день, когда Байгали узнал о гибели Рамазана, он сказал себе:

— У меня был лучший друг. Теперь его нет. Но то, что я мог бы сделать один, я буду делать так, словно мы делаем это вдвоем с Рамазаном...

Имя Байгали Досымжанова стало известным в Казахстане. Сейчас он народный артист республики, лауреат Государственной премии. Он исполнял ведущие партии во многих операх. Но дороже всех ему опера «Тулеген Тохтаров». В ней он исполняет партию сподвижника Тохтарова — Рамазана. И когда со сцены звучит ария Рамазана, Байгали кажется, будто в груди у него бьется бессмертное сердце друга...

Рассказчик поднялся из-за стола.

— Вот и вся история, — сказал он.

— Простите, — спросил я, — а вы знаете Байгали?

— Немножко, — улыбнулся рассказчик. — Байгали — это я.

...Если будете в Москве в последние дни июля и доведется вам в полдень быть на Красной площади, оглядитесь повнимательней: вы удивите там Байгали.



КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВОСЕМЬ...

Это было в Новозыбкове Брянской области в годы Великой Отечественной войны...

Виктории, как и ее сверстникам, было в ту пору восемнадцать. Они были простыми, работящими, веселыми ребятами. Любили шутку и смех, дальние походы и синие ночи у костра. Любили мечтать, читать книжки и подолгу спорить о них...

Но больше всего на свете любили они свою Родину. И потому боль ее и ее горести в те страшные дни войны с фашизмом стали их собственной болью.

— Хальт!

Дуло автомата уперлось прямо в нее. Виктория, тоненькая, круглолицая, в рваном платье, крепко зажимая под рукой рулон ватмана, остановилась. Часовой в каске смотрел на девушку не мигая.

— К коменданту мне, — пояснила Виктория, дотрагиваясь рукой до ватмана. — Вот.

Не отводя автомата, гитлеровец обернулся к проходной, что-то выкрикнул. Виктория увидела двор, окруженный колючей проволокой. Раньше тут был биологический факультет пединститута, в котором она училась до войны. Теперь фашисты устроили здесь лагерь для военнопленных.

Пришел комендант. С ним переводчик — маленький, чернявый, из военнопленных.

— Что тебе?

— Я слышала, господин комендант, что вам нужна бумага для портретов. Вот принесла.

— О, молодец, руски медхен. Что тебе, яйки, масло?

Виктория замахала руками:

— Ничего не надо. Я только хотела попросить господина коменданта, чтобы он разрешил мне немного поучиться у его художника.

Комендант пожевал губами. Он делал свой «бизнес», продавая портреты друзьям. Лишний помощник художнику не помешает. Видя, что он раздумывает, Виктория заторопилась:

— Я бумаги еще достану.

— Гут, — коротко бросил комендант.

Через несколько дней Виктория была уже за сорок километров от города — в селе Карповичи у своей подруги по институту Шуры Палей. Вечером они вдвоем вышли «погулять», завернули за угол избы. В небольшое отверстие в срубе Виктория вложила записку. В ней говорилось, что проникнуть в лагерь военнопленных удалось. Это была записка командиру партизанского отряда Немченко. Еще раньше Виктория просилась в отряд, но Немченко сказал, что в городе нужны свои люди, и дал задание пробраться в лагерь: надо организовать побег пленных и захватить оружие.

...Пока в лагере Виктория знала только троих: художника Антона, переводчика Фабри и инженера из

Москвы Сашу. Они жили в одной тесной комнатушке, и там же Виктория с Антоном рисовали портреты фашистских офицеров. Она прикидывалась наивной, простоватой девчонкой, интересующейся только рисованием, но сама внимательно приглядывалась ко всем троим. Особенно к переводчику, который знал о лагере многое. О пленных Фабри говорил с сочувствием. Из случайно оброненных фраз Виктория поняла, что с Фабри уже можно завести осторожный разговор. Но медлила. Однажды Фабри попросил Викторию:

— Комендант достал радиоприемник, но нет питания. Ты не могла бы помочь?

Виктория молчала. Фабри, внимательно глядя ей в глаза, понизил голос:

— Есть возможность послушать Москву.

У Виктории были две подружки — Вера Замотаева и Вера Белугина. Обе знали о задании Немченко. Виктория рассказала им о просьбе Фабри.

Вера Белугина насторожилась.

— А вдруг провокация?

— Ну что ж, рискую я одна.

Москва... Нет, Виктория никогда не была в столице. Она знала ее по книжкам, по фильмам. Она слышала о ней из отцовских рассказов. Виктория знала, что под Москвой идут упорные бои, и ей теперь думалось, что вот и она здесь вместе с другими защищает Москву, Мавзолей, елочки у Кремля, всю Россию...

Подруги долго ломали голову, где достать электролит для батарей. А через несколько дней Виктория принесла Фабри две бутылки с электролитом. Их раздобыл старый школьный товарищ Леонид Коломейцев...

И ночью Фабри, Антон и Саша, пробравшись в кабинет коменданта, прильнули к приемнику. Утром переводчик еще ничего не успел сказать, но девушка по его взгляду поняла: случилось что-то важное.

— Виктория, — прошептал Фабри, — гитлеровцы под Москвой разгромлены.

Фабри не скрывал своей радости. Виктория сама не могла сдержать взволнованной дрожи в руках. Но тут же подумала: «Фабри свой. Значит, можно начинать».

...В Карповичах легла в тайник новая записка для Немченко.

ПЕРВАЯ ЛИСТОВКА

Викторию встретила на улице старая учительница, спросила потихоньку:

— Витюша, я видела листовки. Не наши ли это ребята?

Девушка пожала плечами.

— Милая, я же узнала почерк. Ты молодец. Люди голову подняли. Только будь осторожна — по почерку могут узнать...

В тот день, когда Виктория услышала от Фабри, что немцы разбиты под Москвой, она собрала подружек. Позвали знакомых ребят — комсомольцев Васю Азбукина и Васю Шишкина. Все радовались: Москва-то наша!

— Ребята, — предложила Виктория, — надо листовки написать об этом. Ведь фашисты кричат, что захватили Москву.

Виктория тут же составила первую листовку.

«Дорогие товарищи! Не верьте фашистской брехне. Москва наша. Гитлеровцы разгромлены под Москвой. Красная Армия гонит их. Освобождено много населенных пунктов. Смерть фашистским оккупантам!»

Теперь Фабри регулярно рассказывал Виктории, что передавало московское радио. А по ночам ребята приходили на квартиру бывшего бухгалтера коммунистки Елены Михайловны Болдыковой, и там Виктория писала листовки крупными печатными буквами.

Листовки полетели и в Карповичи. Шура Палей пришла однажды в клуб, куда фашисты согнали тех, кто был предназначен для отправки в Германию, и пустила листовку по рядам. Полицаи всполошились, но девушке удалось уйти.

В городе появились приказы, грозившие расстрелом на месте каждому, кто распространяет листовки. Но они появлялись снова и снова. Даже служащие полицейского управления находили их в своих столах.

ПОБЕГ

Случилось так, что самолет Евгения Демкина сбили над его родной Брянщиной. С простреленными ногами он добрался до дома. А когда зажили раны и смог ходить, связался с партизанами. Ему поручили достав-

лять сведения о проходящих через Новозыбков вражеских эшелонах. По совету Демкина Виктория устроилась табельщицей в питомник, находившийся неподалеку от станции. Это был удобный наблюдательный пункт. Девушка передавала Демкину разведданные каждый день.

Виктория и сама нередко наведывалась к партизанам. Она доложила и о плане побега пленных.

Виктории удалось наладить связь с пленными. В лагере существовала подпольная группа, которой руководил старший лейтенант Иванов. Больной этот человек был железной воли. Три раза бежал из концлагеря. Его ловили, избивали до смерти и опять бросали за колючую проволоку. Он поднимался и начинал все сначала. Иванов на этот раз предложил такой план.

Каждый день, впрягшись в телегу, пленные тащили огромную бочку к реке за водой. Фабри сказал, что в тот день он устроит так, что за водой отправятся те, кто решился бежать. Дальнейший маршрут от реки к лесу Виктория разработала вместе с Демкиным и сама днем несколько раз прошла по нему.

Но гитлеровцы заметили, что девушка часто ходит в лес. До установленного дня оставалось всего несколько дней, когда в конторку питомника ворвались два фашистских автоматчика.

— Собирайся. Шнель!

Один заметил рулон ватмана на окне.

— Это откуда?

— Для господина коменданта. Я портреты помогаю рисовать.

— Ганс, — приказал один автоматчик другому. — Сбегай к коменданту.

Они остались вдвоем в конторке. Гитлеровец сидел напротив, положив автомат на колени, рассматривая худенькую девушку с обезображенным лицом (Виктория намазала лицо сулемой, чтобы спастись от угона в Германию). Ганс задерживался. Виктория лихорадочно соображала, как ей выкрутиться. И в эту минуту донесся гул самолета и где-то вблизи взорвалась бомба. Фашист бросился к выходу. Окно было раскрыто настежь, и Виктория перемахнула через подоконник.

Сразу в лес девушка уйти не могла: надо было предупредить ребят и Фабри. Виктория пробралась задворками к Вере Замотаевой.

— Вера, за мной приходили. Сбегай к нам домой. Как там?

Вера скоро возвратилась, сказала, что дома был обыск. Значит, домой нельзя. Остается лес. А как же с побегом пленных? Ведь дорогу знает только она одна. Позвали Фабри. Он пришел вместе с Антоном.

— Надо бежать сегодня.

— Хорошо, давайте сегодня, — подумав, согласился Фабри. — А где мужчина, который поведет?

— Какой мужчина? Я поведу.

Фабри заколебался.

«Может, боится или не верит?..» — мелькнуло у Виктории.

Они ушли в лес вдвоем с Антоном. В отряде, где она рассказала обо всем, предположили: «Может, Фабри — предатель?» — «Нет, — ответила Виктория, — я ему верю».

Спустя некоторое время Викторию разыскал партизан из соседнего отряда.

— Там из лагеря пленные сбежали, твои, что ли? Спрашиваем пароль, отвечают: «Виктория».

Это был Иванов со своей группой. И только теперь все выяснилось. Оказывается, одновременно с Викторией свой план побега пленных разрабатывал другой партизанский отряд. И тоже через Фабри.

Все делалось настолько осторожно, что переводчик решил — это тот же план: побег намечался на один и тот же день. Только должен был вести пленных мужчина.

ПАРОЛЬ —„ВИКТОРИЯ“

...С Большой земли в партизанскую бригаду прибыл представитель армейской разведки, черноглазый украинец Саша. Ему нужны были данные о продвижении вражеских войск через Новозыбков. Командование партизанской бригады направило в его распоряжение Викторию. Она рассказала Саше о своих товарищах, об уводе военнопленных, о Демкине.

— Про Демкина я все знаю, — сказал Саша. — Но от него долго нет вестей. Тебе поручается восстановить с ним связь.

...Двое суток вместе с сопровождавшими ее партизанами во главе с Ивановым Виктория добиралась до

Новозыбкова. Дождалась, когда зашла луна. Партизаны остались в укрытии, а Виктория пошла к дому Демкина. Свернув за угол, нос к носу столкнулась с гитлеровским часовым. Часовой поднял стрельбу. Виктория залегла в бурьяне, метрах в пятнадцати от дома. Стрельба не стихала. Наверное, в перестрелку ввязалась сопровождавшая Викторию группа Иванова.

«Где же Демкин? Почему здесь фашисты?» — недоумевала Виктория. Тогда она еще не знала, что незадолго до этого Демкин ушел в лес, всю его семью расстреляли, а в доме расположились гитлеровцы...

Стрельба постепенно стихала. Надо было уходить. Виктория приподнялась и, размахнувшись, как учили еще когда-то в пединституте на военных занятиях, бросила гранату, метя в освещенное окно, в котором только что мелькнула фигура офицера...

Партизаны, вернувшись в отряд, сообщили:

— Пропала наша Виктория. На станции паника: убиты офицер и один солдат. Это ее рук дело.

Но Виктория добралась до условленного места.

— Вот тебе и Виктория, — говорили партизаны. — Недаром «Виктория» значит «Победа»...

И пожалуй, больше всех радовался Иванов. За короткое время знакомства они успели крепко сдружиться.

Итак, Демкина не было...

— А если поговорить с твоими ребятами? — предложил Саша. — Пусть придут в лес. Кто-то должен заменить Демкина.

Вслед за Васей Шишкиным и Васей Азбукиным появились обе девушки. Саша говорил с ними долго. Предупредил: если кто сомневается в себе, лучше сказать об этом честно. Вера Замотаева ответила первой:

— Мы готовы на все. Мы понимаем...

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Жил до войны неподалеку от станции Пантелей Прокофьевич Бабенко.

Когда пришли фашисты, Бабенко остался в городе, устроился работать в ларьке на станции. Здесь его и приметил в свое время Евгений Демкин. Долго приглядывался, прощупывал, пока убедился: свой человек, настоящий коммунист, хотя и без партийного билета.

Бабенко согласился помогать Демкину. Вместе с Викторией, которая тогда уже работала в питомнике, он передавал данные Демкину. С уходом Демкина и Виктории в лес Бабенко прекратил работу. Но только временно. Теперь же, когда с помощью Виктории с ним установил связь Саша, он доставлял сведения в тайник на Кузнечной улице.

Для Веры Замотаевой, Веры Белугиной и Васи Шишкина (Васю Азбукина оставили в отряде) наступили теперь особенно опасные и тревожные дни. Правда, сейчас у них было больше опыта. Они уже хорошо изучили повадки полицаев и гестаповцев.

2

На Курской дуге шли тяжелые бои. Гитлеровцы подтягивали туда свои силы: круглые сутки двигались через станцию эшелоны с войсками и техникой. В тот же день Бабенко и трое отважных ребят сообщали обо всем в отряд. А оттуда с помощью рации сведения передавались на Большую землю.

Донесения из города помогали партизанской бригаде. Партизаны подстерегали карателей, взрывали составы, разрушали мосты.

Гитлеровцы решили блокировать леса, где расположилась партизанская бригада. Они бросили против народных мстителей две дивизии пехоты, танки, самолеты, подтянули бронепоезд. Командование бригады приняло решение перебазироваться в другое место. Снялся и отряд имени Ленина, в котором была Виктория.

На рассвете подошли к опушке. Командир позвал Викторию.

— Пойдешь в Рогово. Если там фашистов нет, мы уйдем через Рогово в Злынковские леса.

Виктория переоделась в латаное темное платье, повязала по-деревенски голову платком. Партизаны быстро насобирали лукошко черники. Выйдя из лесу, Виктория заметила неподалеку двух солдат, тянувших кабель.

— Эй, куда? — закричал один.

— По ягоды ходила, вот...

Связист подозрительно оглядел девушку, махнул рукой. Виктория пошла дальше. Она подмечала все: гитлеровцы все ближе подходят к лесу, подтягивают пушки, роют укрытия. Может, вернуться? Но ей надо дойти до Рогова. Уже на околице девушка увидела: в

Рогове фашисты. Теперь можно и обратно. Но тут ее остановили полицаи:

— Ты куда?

— В лес иду, по ягоды.

(Чернику она предусмотрительно высыпала из лукошка.)

— Что тут такое? — спросил неожиданно подъехавший на машине фашистский офицер.

— Да вот, девчонка в лес идет, — услужливо доложил полицай. — А сама недавно оттуда.

— Партизан?

— Местная я, из деревни...

— Из деревни? А руки, смотрите, какие. Белоручка, — сказал полицай.

Офицер с силой пнул девушку в живот. Виктория упала. Встала, но новый удар сбил ее с ног.

Виктория поднялась, и вдруг вся боль, вся ненависть застлала ей глаза:

— Да, партизанка! А вы холуи гитлеровские. Будьте прокляты!

Тогда полицаи схватили Викторию за руки и за ноги и с силой ударили несколько раз о землю. Больше она не видела уже ничего: ни их лиц, ни неба, ни облаков над собой...

Виктория очнулась ночью. Долго лежала, пытаясь сообразить, что с ней. Пошевелилась и почувствовала страшную боль в спине. За стеной разговаривали двое полицаев.

«Надо попытаться выбраться», — шевельнулась мысль. Превозмогая боль, Виктория подтянулась к стене, где между срубом и стрехой смутно угадывалась полоска света. Обрывая в кровь ногти, девушка пыталась достать руками до этой полоски. Она поднималась и падала. Наконец ей удалось уцепиться за кромку сруба. Эта маленькая победа придала ей силы. Сцепив зубы, она подтянулась на руках и, когда уже лежала на бревнах, почувствовала, что опять теряет сознание. «Только бы не упасть обратно... Только бы не упасть...»

Очнулась Виктория на земле под стеной и, собрав все силы, поползла по мокрой от росы траве... «К своим! Надо предупредить своих...»

Виктория добралась к партизанам, когда они уже вели бой. Тут она узнала, что ночью, прикрывая своих, до последнего патрона держался Иванов. Когда фашис-

ты окружили его, он поднялся и пошел на них с голыми руками. Они расстреляли его в упор...

Все теснее сжималось кольцо вокруг маленькой группы новозыбковских подпольщиков. Все труднее было переправлять партизанскую почту. Но они не пропускали ни одного дня, хотя чувствовали, что ходят рядом со смертью. Труднее всего было Васе: мужчин вообще не подпускали к лесу. И тогда шла Вера Замотаева. Если не удавалось проскользнуть и ей, отправлялась Вера Белугина.

Однажды девушки пошли вдвоем. В этот день они не только доставили разведданные, но и привели к партизанам пленных, которым помогли бежать из лагеря. Пленные обнимали их, целовали как родных:

— Спасибо, девчата. Век не забыть вас.

Командир отряда сказал подругам:

— Знаю, опять будете в отряд проситься. Подержитесь еще немного. Скоро наши придут. Вам такое дело поручено...

И сколько еще летело под откос фашистских эшелонов, тех самых, которые своевременно засекали на станции юные подпольщики Новозыбкова.

Полицаям удалось напасть на их след. Взяли Веру Белугину. В машине, куда ее втолкнули, она увидела Веру Замотаеву...

Через несколько дней выследили Пантелея Прокофьевича Бабенко. Вася Шишкин успел скрыться. Две недели Бабенко и девушек допрашивали, пытали. На свидании с женой Пантелей Прокофьевич, избитый до неузнаваемости, сказал:

— Страшно пытают... Я выдержу, а как девчата...

Они вынесли все и не сказали ни единого слова.

Всех троих расстреляли километрах в девяти от города. Вере Замотаевой фашисты стреляли в глаза. Она смотрела смерти в лицо...

Они любили жизнь. Но больше всего на свете они любили свою Родину.

* * *

По-разному сложилась судьба оставшихся в живых членов подпольной новозыбковской группы юных патриотов. Много пришлось пережить Виктории Кореневой. Дала обострение старая травма позвоночника. Открылся

туберкулез. Одно время Виктория потеряла зрение, потом отнялись ноги. Три года она пролежала без движения в госпитале. Здесь вступила в партию. Лежа на больничной койке, окончила педагогический институт. Потом работала в Москве, в Государственной библиотеке имени Ленина.

Василий Шишкин — художник в Ленинграде. Александра Палей работает учительницей на Черниговщине. Василий Азбукин — медицинский работник.

Они строят жизнь, ту самую, за которую шли когда-то на смерть...

Если я хочу повидать Викторию Максимовну, я иду к восьми утра на Красную площадь. Виктория Максимовна живет на Смоленской площади. Но на работу она идет непременно через Красную площадь (хотя это намного дальше). Минуту стоит у Мавзолея Ленина.

Так она ходит вот уже несколько лет. Каждый день. Исключая субботу и воскресенье. Каждый день в восемь...



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

В одну из наших встреч на Винничине мы как-то остановились с ним в лесочке, на поляне. Из земли торчали гигантские бетонные глыбы, развороченные взрывом. А теперь на месте, где был концлагерь, — памятник тем, кто умер от пыток, но остался непокоренным...

Бондарчук положил на братскую могилу сорванные в поле цветы. В это время рядом остановился автобус с эмблемой «Спутника». Выплеснулась из автобуса разноликая, разноязычная группа туристов. Подходили ближе к памятнику — стихали. Переговаривались негромко. К Бондарчуку подошел паренек с комсомольским значком, поздоровался, что-то стал пояснять. Бондарчук кивал головой, потеплевшими глазами оглядывал приехавших. Когда паренек отошел, он сказал:

— Молодежь к нам в гости приехала из Болгарии, из Польши... Это ж здорово, что дети наши так дружат. Нам еще Ленин завещал быть интернационалистами. Мы этот завет сквозь такой огонь пронесли...

И опять стоял долго, опустив голову, задумавшись...

Эту историю, составленную из писем, написанных по-русски и по-чешски, я узнал случайно. Как-то на рабочем столе первого секретаря Винницкого райкома партии Ивана Афанасьевича Бондарчука я увидел фотографию: два парня в ушанках, в ватниках, с автоматами поперек груди стояли, обнявшись, глядя прямо в объектив. В одном узнал я молодого Бондарчука. Кто был другой? И почему именно эта фотография на столе у секретаря? Бондарчук человек солидный, Герой Социалистического Труда, кандидат экономических наук, на улыбку скуповат, и в сентиментальности его не заподозришь. Так кто ж это рядом с ним на давней, по всему видать, фронтовой фотографии?

— Друг это мой старинный, — сказал Бондарчук. Долго молчал и печально добавил: — Потерял я его в войну. Потом нашел...

...Приехавшую в район делегацию чехословацких друзей Бондарчук возил по хозяйствам, показывал, рассказывал. Один из гостей, журналист по профессии, спросил:

— Я вижу, вы по-чешски немного разумеете. Что, освобождали Чехословакию?

— Нет, в Чехословакии я не был, — ответил Бондарчук. — Но зато в войну встретил я настоящего друга. Из ваших. Его звали Михаил Кмит. Война нас раскидала. Может, жив, может, погиб. Не знаю. Но память о нем осталась...

— Так вы напишите об этом в нашу газету, — посоветовал журналист.

Бондарчук написал. Вот это письмо, напечатанное в свое время в одной из чехословацких газет.

«Всем, кто знает моего друга Михаила Кмита.

Больше года мы воевали вместе с Михаилом в Житомирской партизанской дивизии им. Щорса. Мы были в первом истребительном батальоне. Спали в одной землянке, ели кашу из одного котелка. Хотелось бы узнать, как он живет и работает, как живут другие его товарищи, воевавшие рядом с нами. С тех пор прошло много лет, но на всю жизнь остались воспоми-

нания о дружеских чувствах, которые возникли между нами в совместной борьбе за общее дело.

...Это было в декабре 1942 года возле станции Белокоровичи Житомирской области. Наш отряд, окруженный фашистскими карательными частями, отходил с боями. Вдруг видим, со стороны леса к нам направилась группа из пяти человек. Машут руками, кричат, что они с нами, что они словаки. Что делать? Не стрелять? А вдруг провокация? Подошли они к нам. А тут фрицы жмут изо всех сил. Не успели мы разобраться, что к чему, а эти пятеро уже бьют из автоматов по фашистам.

После боя мы по-настоящему побратались. Наши новые словацкие друзья рассказали, что неподалеку, на станции Белокоровичи, находился поезд со словацким отрядом. Его представители договорились с советскими партизанами, что они совместно нападут на стоящий рядом эшелон с фашистами и что весь словацкий отряд перейдет к партизанам. Фашисты каким-то образом узнали об этом и за день до установленного срока часть словацкого отряда перестреляли. Те же, кому удалось спастись, подались к нашим партизанам. Среди них были и эти пятеро.

Так я встретил Михаила Кмита. Мы с ним сразу сдружились. Он был смелым и добрым парнем. Он был мне братом. Немало исходили мы вместе по украинской земле. Немало пережили. Не раз вместе проливали кровь.

Однажды мы заминировали железную дорогу, по которой должен был пройти фашистский транспорт. Заминировали так, что практически разминировать ее уже невозможно. И тут стало известно, что еще раньше этого транспорта по этому пути пройдет эшелон с нашей молодежью, которую отправляли на работу в Германию. Мы не знали, что делать: времени в обрез. И тогда первым поднялся Михаил. Он сказал: «Я сделаю это сам». Он разминировал дорогу с большой опасностью для жизни. Шансов на успех был один из ста...

Сколько их было, таких случаев?! На войне не считаешься, сколько раз рискуешь жизнью и сколько раз спасаешь товарища. Случилось, что Михаил вынес меня из боя раненого. И мне тоже приходилось тащить его на себе. Тот, кто воевал, знает: такое не забывается во веки веков...

После освобождения Киева пришел приказ, что все

чехи и словаки должны перейти в чехословацкий корпус генерала Свободы. Так мы расстались с Михаилом Кмитом...

Прошу Михаила или тех, кто знает его, — напишите. Где ты, мой старый боевой друг, мой брат?

Твой Ваня Бондарчук».

Итак, письмо было напечатано в газете. Михаил не отзывался. Но прошло несколько дней, и в редакцию написали братья Михаила.

«Дорогой товарищ Бондарчук! Нас обрадовало Ваше письмо. Значит, помнят Михаила. Значит, не зря жил он на свете.

Но расскажем все по порядку.

Мы все из бедной крестьянской семьи. Было нас восемь парней и трое девчат. По старшинству Михаил был четвертый. Работал по сельскому хозяйству, плотничал. В марте 1940 года призвали его на военную службу. Служил в пехоте, в городе Зволен. Насколько помним, когда он приезжал в отпуск домой, то говорил, что, очевидно, придется ехать на восточный фронт, но ни за что он не поднимет оружие против советских людей.

Его часть отправили на восточный фронт. Последний адрес Михаила был: «Полевая почта: Сахара-3». С конца 1942 года письма, которые мы посылали в этот адрес, возвращались с пометкой: «Предал словацкую кровь». После этого жандармы произвели у нас несколько обысков. В последнем письме, которое тайком передал нам незнакомый человек, Михаил сообщал, что он находится «в большом лесу».

Судя по этому письму и по рассказам некоторых солдат, с которыми он служил, мы решили, что он перешел к советским партизанам. Доходили до нас о нем разные сведения. Одни говорили, что он перешел к партизанам и несколько раз возвращался, чтобы увести с собой остальных солдат. Другие — что он погиб. А писем все не было.

Весной 1944 года, когда фронт был уже на нашей территории, Михаил навестил родителей, побыл у них два часа. И уехал, потому что у него было важное задание. Он говорил, что его несколько раз засылали в тыл к фашистам и что теперь перед ним последнее задание: он идет с ним на Берлин. Это была наша последняя встреча. Через несколько дней мы получили печальное

известие из Свидника. Рассказали, что Михаил попал в засаду. Можно было уйти. Но он отослал товарищей и остался прикрывать их отход. Он подорвал себя и окруживших его фашистов гранатой...

Михаил похоронен на кладбище в Свиднике у памятника советским героям. Он воевал рядом с ними. Он лежит с ними в одной братской могиле. После освобождения Чехословакии Советской Армией Советское правительство наградило его медалью «За отвагу», а чехословацкое правительство — медалью «Чехословацкий партизан».

Иван Афанасьевич, если будете в Чехословакии, заходите к нам. Вы наш самый дорогой гость. Всех нас, родственников Михаила, его родителей, считайте такими же близкими друзьями, каким был для вас Михаил. Каждому из нас Вы брат.

На память о Вашем боевом друге, Иван Афанасьевич, мы дарим его фронтовую фотокарточку. Ее нам оставил Михаил, когда уходил на Берлин.

Братья Михаила — Юра, Петр, Василь Кмиты».

Я видел эту фотографию. На ней два парня с автоматами на груди. Два брата — Иван и Михаил. Русский и словак. Фотография лежит под стеклом на рабочем столе Ивана Афанасьевича Бондарчука.

Вот еще письмо. Его написали другие боевые соратники Бондарчука по партизанскому отряду, Павел Бобаль и Юзеф Вовраг.

«Дорогой друг Ваня Бондарчук! С большой болью должны сообщить тебе, что наш боевой товарищ Михаил Кмит погиб в Свиднике, на Дукле. Были мы и еще Стефан Кащак (ты знаешь его!) у родителей Мишки. Мы их навещаем. Мишку всегда будем помнить — золотой он был человек. Таким бы жить да жить. Ну что ж — надо жить и строить жизнь нам. Живым жить на земле и творить то, что завещали нам погибшие. И дружить. Крепко дружить. Как тогда, в партизанском отряде.

Обнимаем тебя: Павел Бобаль, Юзеф Вовраг».

Шло время. Они переписывались, эти старые добрые друзья. Писали о работе, о жизни, о детях. И о чем бы ни говорили в письмах — за строками их стоял образ простого словацкого паренька Михаила Кмита. В письмах была рассказана вся его короткая жизнь. Жизнь, которую он прожил. А в делах, в работе, в том,

чем жили и для чего жили боевые товарищи словаки, и русские, в тех делах как бы продолжалась его жизнь после смерти.

Как-то Бондарчук отдыхал в Карловых Варах. И конечно же, они приехали к нему туда, его старые боевые друзья. Повезли к себе в Банску Быстрицу, в Зволен, в Свидник на могилу Михаила Кмита. А сколько таких могил советских воинов, сложивших голову за освобождение Чехословакии, видел там Бондарчук! Он подолгу стоял у обелисков, склонив голову.

Как родного обнимали Бондарчука братья Михаила Кмита....

Потом с поездом чехословацко-советской дружбы Павел Бобаль и Юзеф Вовраг были у нас в стране. И Бондарчук показывал им свою родину.

И опять идут письма.

Вот последнее. Оно пришло из Чехословакии.

«Дорогой Иван Афанасьевич и вся твоя семья!

Получили от вас письмо. Большое спасибо. Сердечно желаем вам успехов, здоровья. И чтоб в этом году люди еще больше уважали друг друга и крепко дружили.

Мы почти все здоровы. Если не считать моей дочери Гиты, которая сломала ногу. Это она каталась на лыжах в Низких Татрах. Ты ведь помнишь Татры? Мы были там вместе с Павлом Бобалем, когда ты приезжал в Чехословакию...

Гита окончила среднюю медицинскую школу. Теперь ее приняли в вуз на фармацевтический факультет. Другая дочь, Марина, будет кончать среднюю школу. А у тебя сын кончает 5-й курс медицинского факультета. Желаем ему успехов. Верю, что дети наши будут так же дружить, как ты с Мишкой Кмитом, как мы все.

Желаю успехов и здоровья. Юзеф Вовраг.

P. S. Это письмо писала я, Гита, потому что отец, как вы знаете, не умеет написать по-русски. Он мне диктовал это письмо. И потому извините, дорогой Иван Афанасьевич, за ошибки.

Гита Вовраг.
г. Зволен».

Теперь уже дочь чехословацкого партизана Гита Вовраг пишет письма сыну Ивана Бондарчука. Они знают и помнят, что началась их дружба с дружбы отцов. И будет она жить вечно, потому что мы интернационалисты, как завещал Ленин...

...Я не знаю, что сказал своим зарубежным друзьям о Бондарчуке в тот день под Винницей паренек с комсомольским значком, только они все подходили к старому партизану и каждый непременно хотел пожать ему руку.



ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕ ВИДИТ

В тот день, с которого я хочу начать рассказ, с самого утра небо хмурилось над Москвой. И как-то по-особенному трогательна была Красная площадь: мягче краски, тише голоса. Сразу же после завершения работы международного Совещания коммунистических и рабочих партий к Мавзолею В. И. Ленина возлагали венок. На алой ленте надпись: «В. И. Ленину от участников международного Совещания коммунистических и рабочих партий» Минута молчания. Стихло все кругом. Посланцы братских партий пришли почтить память человека, чье имя стало символом крупнейших революционных свершений, изменивших социальный облик мира.

Минута молчания. Шестым слева стоит, опираясь на палку, высокий грузный человек. Я знаю его. Это Генри Уинстон...

...Первый раз мы встретились с ним несколько лет назад. Это было под Москвой, зимою. Генри Уинстон жил в маленьком заснеженном домике. Он приехал к нам на отдых и лечение. За отказ от регистрации в качестве «иностранного агента» ему как одному из лидеров Компартии США буквально на днях должны были исчислять срок тюремного заключения. За каждый просроченный день — пять лет тюрьмы и десять тысяч долларов штрафа.

Вглядываюсь в его лицо: что чувствует этот человек? О чем он думает?

Нет, он непохож на приговоренного. Мягкая, добродушная улыбка. От его могучей фигуры веет спокойствием, уверенностью. Большие темные глаза светятся юмором.

Он встает и пожимает нам руки. Генри Уинстон, национальный председатель Компартии США, готов дать интервью.

ДАЛЕКО МЕДВЕЖЬЕГОРСК ОТ МИССИСИПИ

Сначала говорим мы. В редакцию молодежной газеты пришло письмо из далекой Карелии. Его написали по-английски учащиеся средней школы № 1 города Медвежьегорска. На конверте адрес: «Москва. Генри Уинстону».

«Дорогой товарищ Генри Уинстон, — писали ребята, — мы не можем Вам передать своей радости, когда узнали, что Вы вырвались из американского застенка и приехали в Советский Союз на отдых и лечение. Мы знаем Вас как выдающегося сына американского народа. Мы знаем о Вашей тяжелой жизни, особенно в последние восемь лет, и восхищены Вашим мужеством. У нас в школе нет ни одного мальчишки и девчонки, которые не мечтали бы быть похожими на Вас.

Город, в котором мы живем, невелик. Он приютился на берегу Онежского озера. Наше северное лето очень короткое, а зима долгая и холодная. Но все равно нам очень нравится наша Карелия, и мы уверены, что Вам, если Вы приедете к нам в гости, она тоже понравится.

Мы шлем свой горячий привет Вашей жене миссис Ферн Уинстон и Вашим детям Ларри и Джудди. Надеемся, что в Москве им понравилось.

Желаем Вам доброго здоровья и счастья. Ждем с нетерпением ответа.

Наташа Зайцева, Анатолий Воробьев, Галя Максимова».

Генри Уинстон некоторое время молчит, потом поднимается и делает несколько шагов по комнате. Просит еще раз объяснить, где находится этот город с таким трудновыговариваемым названием.

— Смотрите, — оживленно говорит он, — в таком далеком маленьком городке даже ребята знают о наших делах. Я вспоминаю сейчас себя мальчишкой: мы не знали даже, что творилось в соседнем штате...

Нас было шестеро в семье. Учился я один. Дважды в день, когда я шел в школу и возвращался из нее, мне приходилось пускать в ход кулаки, потому что мой путь к знаниям лежал через белый квартал. Но скоро и этот

путь был закрыт: в двадцать девятом году разразился кризис, отец потерял работу, а мне пришлось бросить школу и отправиться на поиски заработка. Кем я только не был: грузил пароходы на Миссисипи, был носильщиком, стюардом. Природа наградила меня с детства силой и здоровьем. Я был крепким парнем. Но даже при этом я к вечеру выбивался из сил. Такой каторжной жизни, казалось, не будет конца. В городе Хаттисберге я близко сошелся с хорошими умными ребятами, такими же работягами, как я сам. Впрочем, не такими. Они знали больше моего, они дальше и глубже видели: это были американские комсомольцы. Они увидели во мне своего единомышленника... Я потянулся к ним не потому, что я был одинок. Я услышал от них правду о моей жизни, я увидел в их делах и поступках надежду на будущее: свое, моих братьев, моих товарищей, бродивших в поисках работы. Меня приняли в комсомол...

— Интересно, как это выглядело?

— Как? Рассказывал биографию. Она была у меня короткой.

— Какие были вопросы?

— Вопросы? «Кто отец?» Я сказал: «Безработный». «Кто был дед?» Я ответил: «Он был рабом»...

Так я начал новую жизнь. Она стала трудней прежнего. Но я не жалел, что вступил на дорогу борьбы. Комсомол был для меня колыбелью, в которой я рос, готовясь стать коммунистом. Нас преследовали, но мы знали, что боремся за светлые идеалы; в те годы я впервые прочитал Ленина, его «Речь на интернациональном митинге в Берне 8 февраля 1916 г.», «Письмо к американским рабочим». Я на многое тогда взглянул другими глазами.

...Тридцатые годы — черные годы в истории Америки: свирепствовал расистский террор. Именно в то время я услышал о страшной трагедии — девять молодых негров по ложному обвинению осуждены на смерть. Их спасли коммунисты. Так я узнал о том, что в моей стране есть люди, которые самоотверженно вступали в схватку с темными силами... В тридцать втором я стал коммунистом. Работал в союзе коммунистической молодежи, был секретарем союза и членом исполкома Коммунистического интернационала молодежи.

Учиться приходилось, как говорится, на ходу. У меня была огромная жажда знаний, я мог позволить себе

купить книги и учебники. Но у меня почти никогда не было времени, чтобы почитать все книги, которые я хотел....

Генри Уинстон на минуту смолкает. Потом берет зеленый конверт с письмом медвежьегорских ребят.

— Поверьте, меня очень растрогало это письмо. Не только потому, что оно напомнило мне о моей молодости, не только потому, что его с радостью прочтут моя жена и мои дети. В этом письме я услышал голос молодости, которая верит нам, американским коммунистам. Верит и своей верой вливает в нас новые силы. Я обязательно отвечу этим ребятам...

ОБМАНЧИВАЯ ТИШИНА

За окном угасает день. Мохнатые сосны стоят, стройные и величавые, в пушистом белоснежном убранстве. Мягкие голубые тени на снегу. Генри Уинстон подходит к окну. Долго смотрит.

— Снег... — негромко произносит он. И опять тишина. И в комнате, и за окном. Солнце освещает голову Генри Уинстона. На голове чуть повыше лба — шрам.

— Откуда это у вас?

Генри Уинстон трогает шрам рукой.

— Это и это, — он показывает еще один глубокий шрам, — память об американской тюрьме...

Улыбка сходит с его лица. Он тяжело опускается в кресло и задумывается. Генри Уинстон вспоминает...

Всю жизнь, с того самого дня, когда босоногим мальчишкой на берегах Миссисипи Генри впервые прочитал книжку, его неудержимо тянуло к знаниям... Попав в застенки тюрьмы Терр-Хот, Генри Уинстон тут же попросил, чтобы ему прислали из Чикагского университета курс лекций по логике. И стал усиленно заниматься. Но вскоре он почувствовал, что быстро устает. Он попросил тюремных врачей осмотреть его. Те осмотрели и дали... таблетки аспирина. Здоровье ухудшалось. Генри Уинстон стал плохо видеть. Однажды, когда на свидание к нему пришла жена, Уинстон поднялся на ноги и понял, что уже не в состоянии сам дойти до комнаты, где она ждала его...

Его продолжали лечить все тем же аспирином. Тюремщики видели страдания и хотели сломить волю этого человека, хотели, чтобы Генри Уинстон отказался от

своих убеждений. Они не знали, что у этого человека железная воля и непоколебимое мужество.

О тяжелом состоянии Генри Уинстона узнали товарищи по партии. Началась кампания протеста против издевательств над Генри Уинстоном. Под нажимом общественности власти разрешили Уинстону лечь в клинику. Так был выдержан первый бой...

Но впереди его ждало самое страшное: восемь долгих мучительных часов длилась операция. Три раза врачи считали Уинстона умершим... Когда несколько дней спустя после операции сняли повязки, Генри Уинстон понял, что он ослеп. Слишком поздно пришла помощь: если бы операция была сделана своевременно, все обошлось бы благополучно. А теперь...

Тюремщики уже готовы были торжествовать. Но опять поднялась буря голосов во всем мире в защиту Генри Уинстона, которого американские власти вновь хотели упрятать за решетку. Генри Уинстон был освобожден. Еще не совсем оправившись от болезни, он твердо сказал:

— Это правда, что я потерял зрение, но также правда и то, что я не потерял способности видеть. Я ослеп физически, но политически вижу лучше, чем когда-либо раньше...

...Генри Уинстон замолчал. Он сидел, подперев рукой голову. Сумерки пали на землю. В комнате с сиреневыми стенами потемнело. Тишина. Но это обманчивая тишина: в этом домике бьется отважное сердце мужественного человека.

Та встреча в заснеженном подмосковном домике была давно. На память о ней мы взяли у Генри Уинстона номер газеты «Уоркер», в котором была опубликована его речь перед судом. Эту речь нельзя было читать без волнения, столько было в ней боли, страсти и твердости духа:

— Я негр... Я был свидетелем линчеваний, я испытал сегрегацию, всякого рода жестокости, оскорбления и обиды. И я всегда старался найти для своего народа такую программу, которая бы его избавила от угнетения. Это моя жизнь, и я никогда не забуду, что Коммунистическая партия была первой организацией в США, которая предложила такую программу для моего народа и для моего класса...

...Случилась трагедия. Окружающие предметы рас-

ползлись в мутные пятна. Исчезли люди. Солнце превратилось в тусклую электрическую лампочку, горящую вполнакала. Кругом ночь, наполненная шорохами и шумами, от которых сжимается сердце. Да, американские тюремщики ослепили Генри Уинстона. Его слепоту подтвердили врачи. Но Генри Уинстон, несгибаемый революционер, до конца верен своим идеалам: вот уж сколько лет он в строю, несмотря на недуг, у руля Коммунистической партии США.

...В небольшом северном городке Кондопоге молодой рабочий бумажно-целлюлозного комбината Анатолий Воробьев, пригласив к себе домой, показывал собранные им книги, знакомил с семьей.

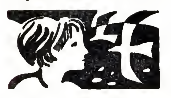
— Вот это мой сын Генка, — Анатолий подтолкнул вперед белобрысого смутившегося мальчишку. — Вообще-то правильное его имя Генри.

— Генри?

— Да, в честь Генри Уинстона. Знаете? Я родом из Медвежьегорска. Там учился в школе. Мы с ребятами письмо писали Генри Уинстону после того, как он, уже ослепший, приезжал к нам на отдых. Он нам ответил. На машинке письмо было напечатано, а подпись своя. Собственной рукой подписал. Я долго смотрел: твердая подпись, даже по ней человека видать. Вот для меня идеал человека. Потому и сынишку так назвал...

Белобрысый паренек задумчиво сидел. Анатолий рассказывал, снимал книжки с полки.

А мне вспомнилась та памятная встреча в заснеженном подмосковном домике. Прощаясь с Генри, мы ощутили крепкое пожатие его руки. И нам казалось, что каждый из нас уносит в себе частичку мужества этого необыкновенного человека, который прошел через все муки, отмеренные ему жизнью. И готов принять их снова ради счастья людей.



ДВОЕ И МОРЕ

Старый белый пароход уходил в Одессу вечером. Он скрипел и вздыхал, тяжело попыхивая густыми клубами дыма.

Это было в субботу. Пассажиры спешили на воскресный одесский базар. Краснощекие молодки в широких юбках и бодрые старушки в белых платочках заставили корзинами с черешней все проходы и трапы. Я с трудом пробрался к борту возле камбуза.

Из камбуза вышла девушка в темном рабочем халате. Она стала рядом, вполоборота к реке, глядя вперед. Свет из камбуза падал на нее, и я увидел смуглое лицо, тонкий нос и огромные глаза. Глаза были задумчивые, с длинными ресницами. И еще очень хорошей была улыбка.

Днепр переливался и сверкал в неярком лунном свете, и огни на берегах все отдалялись от нас справа и слева, потому что пароход входил в лиман.

— Ночь какая! — негромко проговорила девушка.

Я машинально прочитал:

В бледно-фосфорном сияньи
Ночь плывет путем цариц...

— Блок! Вы любите Блока? — живо обернулась девушка.

Мы заговорили о Блоке, о театре, о последних выставках в Москве.

— Я ведь тоже жила в Москве, — сказала девушка.

— А сюда как попали? — спросил я.

...Бывает, встретишь незнакомого человека и то ли оттого, что переполнят тебя чувства, то ли ночь, как сегодня, возьмет тебя в плен своим волшебством, но ты вдруг откроешь своему спутнику больше, может быть, чем самому лучшему другу...

— Я не знаю, может, вы послушаете меня и тоже, как некоторые, только покачаете головой, — так начала свой рассказ девушка. — Мы вдвоем с сестрой плаваем. Ее Людой зовут, а меня Верой. Мы с ней близнецы, приметные. Хотя вообще не любим бросаться в глаза и одеваемся по-разному. Случается, увидят нас пассажиры, начинаются ахи да охи: «Ах, как похожи! Ах, какие молоденькие! Кто такие?» Ну кое-кто из команды, особенно на первых порах, возьмет да и выложит нашу историю. И пассажиры удивляются: «Надо же! Вышли бы замуж и жили бы себе как все люди живут».

Однажды наш пароход стоял в Одессе. Мы с Любой только вылезли из камбуза — в халатах, руки в картофельной шелухе. А мимо американские туристы прохо-

дят. Молодые такие ребята. Я заговорила с ними. Они оказались веселыми, интересными собеседниками. Мы тогда как раз прочитали с Любой в подлиннике роман Уилсона «Живи среди молний». Был с туристами не то переводчик, не то сопровождающий. Он нас спрашивает:

— Вы кем на пароходе работаете?

— Камбузницами.

— Английский откуда знаете?

— На курсах учимся.

— Так давайте я вам подходящую работу найду.

— Нет.

— Почему?

Мы ответили почему.

Человек искренне удивился:

— Вот чудачки!

Но я отвлеклась. Расскажу с самого начала...

Началось это, наверное, со стихов Блока. Знаете, есть у него:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Городок наш Клинцы небольшой, тихий. Прочитали мы эти стихи и прямо заболели дальними краями, дальними морями. Решили с Людой — станем штурманами. Это началось еще с пятого класса. Другие девчонки и мальчишки мечтали стать врачами и агрономами, трактористами и летчиками. А у нас своя мечта.

Где-то уже в девятом или десятом классе мы впервые прочитали ленинские слова: «Надо мечтать!» Вот это энергичное ленинское «Надо мечтать!» для нас как призыв, как путеводная звезда...

Окончили десятилетку, пришли домой. Мама пирог испекла. Бутылку вина купили. Отец — он у нас на текстильной фабрике работает — выпил и говорит:

— Ну, девчата, хватит, помечтали. В институт сейчас попасть трудно, я вас на фабрику устрою.

Мы, конечно, на дыбы. Отец кулаком по столу. Мать говорит отцу: «Дай им хоть после школы погулять. Там видно будет». На том и порешили. А мы тем временем документы в мореходное училище отправили. Ждем не дождемся ответа. Наконец присылают документы обрат-

но. Не требуются, пишут, женщины. Не унываем — в другое училище. Оттуда то же самое.

А время идет. Наши одноклассники уже работали, некоторые поступили в вузы. Стали мы просить отца: «Отпусти в Москву. Мы найдем там правду, поступим в мореходное». Еле упросили, с условием: если в мореходное не поступим, возвращаемся домой — и на фабрику.

В Москве пошли в Министерство морского флота. Кабинетов много, начальников еще больше. И кому мы ни заикнемся о своем деле, смотрят на нас с удивлением. Посылают один к другому. Наконец пришли в большой какой-то кабинет. Сказали нам, что здесь ведают учебными заведениями. Сидит пожилой человек за столом.

— Ну что у вас? — спрашивает.

Мы очень волнуемся, рассказываем. Люда ему даже из Блока про цветной туман прочитала.

Слушал, слушал нас этот человек, карандаш в руках вертел, глаз от стола не поднял, а потом сказал:

— Шли бы вы на фабрику, как отец советовал. Нечего болтаться и головы людям морочить.

— Но у нас мечта...

Вышли мы из министерства как в воду опущенные. Идем по улицам сами не знаем куда. Думаем. С одной стороны, верно — целина, домны, фабрика. У нас из школы и на целину и на фабрику пошли ребята. А у нас свое на уме. Что ж нам делать? Вернуться домой? Тогда прощай мечта. Отец больше никуда не пустит. Решили: не вернемся домой, пока мечта наша не сбудется.

А деньги между тем кончились. Решили устроиться на работу. Приняли нас на завод здесь же, в Москве. Поживем, думаем, там видно будет. Пошли разнорабочими. Трудно, но мы работы не боимся. Тогда же поступили на заочные курсы иностранных языков. Английский изучали мы и до этого.

Жили в общежитии. Девчата хорошие, сердечные. Особенно с одной очень сдружились, с Таней. Она была членом партии, очень принципиальная. Нам она сказала:

— Про то, что вам говорят, забудьте. Это хорошо, когда человек мечтает. А еще лучше, если добьетесь своего.

Проработали мы на заводе до весны, заработки маленькие. Видим, если нам ехать в училище придется, денег не хватит. Посоветовались с Таней, и она сказала, что устроит нас в изыскательскую партию, которая отправляется на все лето на Алтай.

— За лето денег подработаете, а осенью в Одессу махнете, в мореходное, — сказала Таня.

Стали мы увольняться — не увольняют.

— Что еще за фокусы? — закричал начальник отдела кадров. — Нам план надо выполнять, а они размечтались.

Пришлось Тане вмешаться. Все-таки отпустили нас. С Таней расставались очень тепло, как с сестрой. Какие все-таки люди есть! Ну кто мы ей? А она бегала, волновалась, с работы отпрашивалась, чтобы пойти заступиться за нас.

И поехали мы на Алтай...

Луна поднялась уже высоко. И в голубом ее свете все вокруг было словно в зыбком тумане. Легко покачивались на воде и позванивали буи.

Из камбуза вышла девушка.

— Сестра моя, Люда, — сказала Вера.

— Извините, у меня руки грязные: только что картошку на утро кончила чистить. Вера, где мы?

— Большие Касперовские створы миновали.

Когда сестра ушла, Вера продолжала:

— На Алтае провели мы лето. Работали в партии. Поначалу, конечно, трудно пришлось. Сами понимаете: восемьдесят мужчин и три женщины. Народ разный. Но это, по-моему, как себя поставишь. К нам относились с уважением. Предлагали: «Поедемте с нами в Сибирь».

Но нас тянуло к морю. В конце лета мы послали документы в мореходное училище в Одессу и, не дожидаясь ответа, выехали туда сами.

Прямо с вокзала — в порт, к морю. Вышли под каштанами на Приморский бульвар, на знаменитую Потемкинскую лестницу, увидели море, и у нас дух захватило. И море и корабли мы видели первый раз в жизни. Мы ходили, смотрели во все глаза и не могли насмотреться...

А в училище нас опять не принимали. Во-первых, не очень радушно отнеслись к девушкам, во-вторых, нужны были два года трудового стажа на флоте... Мы ходи-

ли и просили в разных инстанциях много дней. И все безрезультатно.

Пришла осень. На Приморском бульваре осыпали желтые листья каштаны. На рейде дымили корабли и уходили в море. А мы оставались в Одессе и никак не могли устроиться на какой-нибудь корабль.

Стали работать в ремстройконторе. Решили: поработаем, пока не подыщем место на корабле.

И все бы ничего. И на пароход куда-нибудь мы бы поступили. Да случилась беда: сорвалась с крана чугунная чушка и угодила Люде по ногам. Положили ее в больницу. Я хожу сама не своя. А Люда, как пришла в сознание, спрашивает:

— Доктор, а после этого примут меня в мореходное?

Вышла Люда из больницы худущая, черная, как галка. Ветром ее качает. Стала я ей говорить:

— Может, пока домой поедешь, в Клинцы? Поправишься, вернешься, а я пока работу на корабле подыщу?

Она и слушать не хочет.

— Нет, никуда не поеду!

А тут еще случилось...

Вера смущенно замолчала, видно раздумывая, продолжать ли дальше. Потом тряхнула головой: уж если рассказывать — все до конца...

— Влюбилась я. Встретила человека... Может, и не любовь это была. Я ведь никогда до этого не влюблялась и не знала, что это такое. Только нет, наверное, любовь, потому что разом забыла я все на свете: и про мечту, и про Люду. Только о нем думала. Он красивый такой был, сильный, ласковый. Идешь с ним по улице, и от счастья смеяться хочется и людям хорошее хочется сделать. Он мне говорил: «Давай поженимся».

А Люда сказала:

— Что ты думаешь, Верка? Как же я одна?

Я не спала всю ночь. Думала. Утром сказала себе: «Нет, ты не имеешь на это права сейчас...»

Вскоре мы поступили на работу сюда, на «Славянск»...

Девушка замолчала. Давно перевалило за полночь. Свежий ветер погнал мелкую рябь по воде. Негромко переговариваясь, к нам подошли двое ребят в промасленных комбинезонах.

— Вера, не спишь так долго? — удивился тот, что был повыше, в берете.

Девушка ничего не ответила, засмеялась и, поднявшись на руках, уселась на борт.

— Что ты, упадешь, — бросились к ней ребята. И в том, как они это сделали, почувствовалась трогательная забота и уважение к девушке. Ребята ушли, и Вера продолжала:

— Так мы стали плавать на «Славянске». Ребята золотые. Говорят, они тут раньше очень ругались. Сейчас нет этого. Живем мы с ними дружно. Они помогают и дров наколоть, и картошку почистить. В общем, замечательные хлопцы.

Самые лучшие для нас с Людой дни — это когда объявляется учебная тревога. Сколько нужно тут быстроты, точности, умения, сноровки! Я сначала по веревочной лестнице лазить побаивалась, потом пересилила страх.

Вся команда знает о нашей мечте, помогает нам. Правда, во время плавания штурман не пускает нас на мостик. Он старый моряк, бережет традиции и говорит: «Нельзя! Женщине на мостик не полагается». Зато на стоянке позволяет бывать всюду, учит нас, лоции заставил изучать.

Год нам осталось плавать, а потом — в мореходное. Об экзаменах не беспокоимся: все назубок выучили...

Вот и вся наша история. Я часто думаю: а что было бы, если б мы остались в Клинцах, работали на фабрике? Смирились ли бы? Успокоились? Нет. Мечта наша не дала б нам покоя. И разве так уж плохо, если есть у человека мечта, цель в жизни, ради которой стоит жить и бороться? И цель не праздная. Ведь работа нам предстоит трудная. Это мы знали раньше, а еще лучше поняли, плавая на «Славянске».

Пароход пришел в Одессу на рассвете. Город вставал в синей предутренней дымке. Большие белые суда на рейде.

Когда мы прощались с Верой, она попросила мой адрес и сказала:

— Через год вы получите письмо от курсанток мореходного училища сестер Злотниковых.

Я улыбнулся в ответ. Верил ли я в то, что они добьются своего, что исполнится заветная их мечта? Одно

я знал твердо: им предстоит очень и очень многое преодолеть на пути к своей цели.

Им повезло. Они встретили доброго и умного человека — начальника Одесского мореходного училища Николая Александровича Костенко. На свой страх и риск он зачислил их в училище.

Потом я потерял их из виду. Шли годы. Они учились, плавали на буксире «Громовой», на «Адмирале Нахимове», на «России». Это были настоящие моряки, ни в чем не уступавшие ребятам. И вот государственные экзамены. Тут бы и поставить точку. Но...

Из Москвы, из Министерства морского флота приехало начальство. Кто-то засомневался:

— Девушки на корабле?! Кончат училище, а потом что? Кто возьмет к себе штурманом девушку? Вы подумали?

И капитан большого теплохода, старый, уважаемый на флоте человек, сказал твердо на это:

— Одну возьму я. Другую по моей рекомендации, думаю, возьмет любой капитан пароходства.

Так две смелые девчонки стали штурманами морского флота.

...Люблю людей мечтающих. Но еще больше тех, кто никогда ни на шаг не отступал от своей мечты.



ДЕВУШКА ИЗ ПЕКЛА

Город пылал от зноя. Белые стены домов сияли так ослепительно, что на них больно было глядеть. Пропыленные деревья на улицах стояли недвижно, словно застыв в тяжелой дреме. Девушка шла по городу в серых от пыли штанах, в стоптанных туфлях с ободранными носами. Она глядела по сторонам, будто видела все впервые, и ей не верилось, что можно так неправдоподобно красиво одеваться, носить такие туфли, как вон у той женщины, что идет с портфелем, и пить на каждом углу возле тележек со льдом сколько угодно воды.

Солнце жгло беспощадно. Даже в тени асфальт

плавился, и на нем оставались глубокие вмятины от каблуков...

Потом девушка сидела перед столом секретаря обкома комсомола и, глядя на свои потрескавшиеся от солнца и пыли маленькие руки, лежавшие на коленях, думала о далеком голом поселке в пустыне, из которого она приехала, о песчаных бурях и бесконечном гуле машин. Когда секретарь обкома предложил ей остаться работать здесь, в городе, она, чуть поколебавшись, ответила:

— Хорошо, я согласна... Только съезжу за вещами.

...Второй день в поселке нет воды. Ребята пьют теплый, сильно отдающий йодом нарзан и на чем свет стоит ругают снабженцев.

Мастер Тамара Степаненко в который раз поднимается из котлована на эстакаду, в вагончик начальника участка и, стуча кулаком по горячим от солнца доскам шаткого стола, заваленного чертежами, грозит вместе с бетонщиками бросить работу, если сегодня же не будет воды. Начальник раздраженно кричит ей в ответ:

— Вы мастер? Вот и занимайтесь своим делом! Вода будет.

И хватается за телефон...

Они строят входное сопрягающее сооружение, по которому вода из канала пойдет в водохранилище. До сдачи сооружения остается меньше месяца. И вот на тебе — воду из города не везут.

Тамара вернулась со смены под утро, устало растянулась на кровати и уснула, будто провалилась в темную душную пропасть. Ей приснилось: стоит она где-то у степного колодца и пьет воду прямо из ведра. От студеной влаги нестерпимо ломит зубы, мокрая цепь позвякивает о ведро. Вода льется через край на платье. Она вдруг спохватывается: «Что ж я с водой-то так...» И просыпается.

Полдень. Солнце, круглое и белое, жжет особенно беспощадно. Вернувшиеся со смены бетонщики без рубашек, темные от пыли и загара, умываются нарзаном. Тамаре видно, как Серега Базаров, хмурый парень в трусах и в продранной соломенной шляпе, не глядя, берет из ящика позади себя бутылки с нарзаном и, ловко открывая зубами металлические крышечки, ворчит:

— Тут на одном нарзане в трубу вылетишь... Эх, в чане бы разок окунуться!

Тамара выходит из палатки:

— Опять ты, Серега!

Тот сразу становится на дыбы:

— А что ж, пропадать в этом пекле? Месяц не мылись. Думаешь, хорошо?

От жары, от нестерпимого солнечного света у девушки кружится голова.

— Для технических целей вода в чанах, понятно? — объясняет она.

— Почему другие купаются? — наступает Базаров. Лицо его перекосилось от гнева. Ребята, сгрудившись, кричат, перебивая друг друга:

— Целый день как на сковородке!

— Ей какое дело!

— Как какое? Она же начальство: комсорг.

Разгоряченные лица, сверкающие глаза. И она перед ними, маленькая, в линялой майке. «Только бы не раскричаться. Только бы сдержаться», — думает она, чувствуя, как на зубах скрипит песок, а вслух говорит:

— Ну что вы, ребятки, не надо. Я же понимаю. Потерпите еще немного...

Базаров машет рукой, поворачивается и уходит. Тамара смотрит ему вслед:

— Ну я комсорг! А вы кто? Одна я, что ли, должна за все браться... Вы ведь тоже комсомольцы. — Теперь она смотрит на всех.

Бетонщики понемногу остывают.

— Мы ничего... — говорит Саша Штефурко.

— Вы вот что, — предлагает Тамара, — возьмите машину и мигом в город. Нажмите там насчет воды. Ты, Саня, за старшего.

Штефурко растерянно смотрит на Тамару, потом коротко отвечает:

— Сделаю.

Они уходят. Тамара садится на горячий песок. «Буря будет, — с тоской думает она. — А может, и хорошо, что буря?»

Буря пришла после полудня. И стройка замерла. Остановились краны, машины. Раскаленный ветер засыпал все песком. Мельчайшая пыль набивалась в нос, уши. Тамара лежала, укрыв голову косынкой, и думала. Когда она окончила институт в Ашхабаде и ей пред-

ложили там работать, она замахала руками: «Только на стройку! На канал!»

Ее назначили мастером. Она укладывала первый бетон и забивала первый шпунт в котловане сооружения. Бывало, не ладилось что-нибудь на участке, и она не хотела уходить со смены, пока не утрясали. И чуть что — предлагала: «Давайте я схожу», «Давайте я сделаю».

Когда на собрании комсомольцы предложили избрать ее секретарем, она замахала руками:

— Что вы! Я в институте даже...

Но ее не стали слушать.

— То институт, а тут пески...

И опять она носилась по стройке в своей линялой майке, создавала контрольные посты, писала «молнии». А у начальника участка все выспрашивала:

— Так я работаю, а? Понимаете, вот план все никак не составлю. Как составить, а?

Начальник устало тер лоб:

— Надо, чтобы хлопцы хорошо работали. Чтобы любили работать. А как это сделать, с планом или без плана, не знаю...

...Тамара осторожно стряхивает с косынки пыль и прислушивается. Буря не стихает, духота как в печи. Девушка зарывается головой в подушку. Для чего, собственно, она здесь, в Каракумах, в этом пекле. Какая от нее польза? И не умеет она с ребятами сладить.

Но разве это правда? На минуту сердце у нее отходит. Но потом она вспоминает Серегу. Что он за парень? Никого не признает. А встанет с вибратором — все у него в руках горит. Хоть две смены будет работать, не из-за денег — из интереса. А то может накричать, нагрубить...

Ветер стих. Тамара вышла из палатки, побрела, сама не зная куда, по ночному поселку и неожиданно натолкнулась на чаны с водой. И поняла: одно у нее сейчас желание — выкупаться...

Звезды в небе чистые-чистые и кажутся не такими уже далекими. Тамара смотрела на них, ворочаясь с боку на бок, и не могла уснуть. Ей было стыдно за свою слабость. Она чувствовала, что уже не сможет уснуть. Не имеет права. Тогда она пошла и отыскала Базарова.

— Серега! — потрясла она его за плечи. Парень поднял голову. — Слушай, Серега, я искупалась в чане.

— В каком чане? — не понял Серега, садясь на одеяло.

Не глядя на него, Тамара повторила:

— В чане искупалась. Вас ругала, чтобы не ходили, а сама не выдержала. Сил не хватило. Ты не думай, я не оправдываюсь...

Она сидела перед Серегой прямо на песке, маленькая, с беспомощно опущенными руками, и Базаров, вечно хмурый, колючий, сказал:

— А я ничего. Ну искупалась, и что ж... Это ничего, бывает... Я вот тоже иной раз думаю: ну не буду выражаться. А как что, все забываю. Но теперь твердо решил — брошу эту привычку.

Огромная луна неслышно плыла в небе. И весь поселок и котлован сооружения были залиты голубым светом.

— Ты иди спать, Тамара, — тихо сказал Серега.

Они не сказали больше ни слова друг другу. Но с тех пор Серега переменился к Тамаре. Он теперь относился к ней как к человеку, которому в любую минуту готов подать руку...

На рассвете Саша Штефурко пригнал из города машины с водой. Первой услышала далекую комариную звень моторов Тамара. Потом она увидела желтый свет фар над барханами и принялась будить товарищей. Они прыгали, кричали:

— Вода! Вода!

И Тамара кричала вместе с ними, будто и не было этих трудных дней и ночей.

А потом пришла беда. Это случилось спустя несколько дней после того, как сооружение вступило в строй. Тамара ехала ночью на дальний участок. Дорога шла рядом с каналом. У Сиракского моста шофер вдруг резко затормозил.

— Вода, — показал он вперед.

— Откуда тут она? — не поверила Тамара и открыла дверцу. Тяжело блестевшая при свете фар вода подбиралась под машину.

— Канал прорвало. Поворачивай обратно! — крикнула Тамара.

До Хаузхана оставалось не больше километра, когда машина резко остановилась. Впереди была вода.

— Стой здесь. Я побегу за ребятами, — сказала Тамара.

Она шла в темноте с трудом. И, как назло, ни луны, ни звездочки на небе.

И обратный путь тоже в кромешной тьме. Но теперь за ней спешили к мосту товарищи. Вода залилась за голенища сапог, но Тамара ничего не замечала. Она торопила:

— Ну ребята, миленькие, ну поскорее...

У Сиракского моста в пламени факелов мелькали фигуры людей, неуклюже разворачивались бульдозеры. Только что тяжелый вал ударил в бульдозер, и вода залила кабину. Водитель еле успел выбраться.

Но вот в кабину крайнего бульдозера садится коренастый парень в майке. При свете лицо его, темное от загара, кажется высеченным из камня. Тяжелые руки уверенно ложатся на штурвал.

— Федя! — кричит кто-то рядом. — А ну-ка покажи класс, Федя!

Тамара, которая сейчас вместе со всеми ломает саксаул (для того, чтобы уложить его в тело канала и сдержать поток), тоже слышит это имя. Но она еще не знает, что скоро сама будет часто повторять его...

Четверо суток, отрезанные от всех дорог, они боролись с разбушевавшимся потоком и усмирили его...

Все, что здесь написано, произошло с Тамарой уже после того, как ей предложили переехать в город. Тогда она не осталась работать в обкоме. Она вернулась на канал и написала письмо секретарю: так и так, мол, смалодушничала, когда дала свое согласие; никуда отсюда не уеду.

Я видел это письмо. Оно было в мятом, потертом конверте. Тамара долго носила его в кармане. Но не для того, чтобы оставить для себя лазейку в трудную минуту. Просто в суматохе дел не могла выбрать времени, чтобы опустить его в почтовый ящик.

Я был на Хаузхане, когда весь поселок жил ожиданием предстоящей свадьбы комсомольского секретаря Тамары Степаненко и бульдозериста Феди Соловьева. Старший прораб Урожек, выйдя на крыльцо своей прорабской, грозил, да так, что было слышно на конце поселка:

— Что она там еще задумала, бисова дивчина, — свадьбу в Ашхабаде справлять! Нехай только попробу-

ет! Бульдозеристы звонят с канала, говорят — поселок снесем, если не будет свадьбы на Хаузхане.

И была на Хаузхане веселая комсомольская свадьба. Мне не довелось на ней повеселиться. Зато вместе с молодоженами я был в Москве в тот памятный на всю жизнь день, когда прямо с самолета в свадебном наряде они пришли на Красную площадь, к Мавзолею...



СНЕГ В ГОРАХ

Снег в горах в том году лег рано. Еще с вечера отчетливо виден был каждый камень и каждая ложбинка на рыжих склонах. А ночью задула, закружила метель. Она спустилась с перевала и бушевала до рассвета.

Утром Виктор Прощенко вышел из длинного темного коридора на крыльцо и будто ослеп от яркого солнца и белизны. Открыл глаза и ничего не узнал вокруг. Горы стали ниже, еще теснее сгрудились над поселком. Дома совсем вросли в снег.

Виктор постоял, потоптался, раздумывая, идти ли завтракать: есть не хотелось. Махнул рукой — а, после поем. И пошел по направлению к Северному порталу.

Он шел целиной, потому что за ночь дороги занесло, а до портала было не так уж далеко. Снег был глубокий, Виктор все глядел, чтоб не зачерпнуть сапогом.

Что-то будто толкнуло его. Он поднял глаза и увидел Сашку Степакова. Они поравнялись, и Сашка сказал первым:

— Здорово!

— Привет! — отрывисто бросил Виктор.

И все. И если бы кто посмотрел издали на две цепочки в снегу, подумал бы: прошли два товарища. Потому что следы их на снегу остались рядом. А люди шли в разные стороны...

1

Это было в клубе. Главный инженер Ширяев сказал:

— Скоро сбойка, товарищи.

И хотя все знали об этом, но оттого, что это сказал сам главный, показалось, что день сбойки туннеля вроде бы стал еще ближе. А Ширяев, переждав, пока стихнет шум, добавил:

— Сбойку будет производить лучшая бригада проходчиков.

...На стройке «сухой» закон. Но ребята достали где-то поллитра. Разлили.

— Твое здоровье, Сашок!

— А я-то при чем?

— Да уж...

— Бригада, коллектив.

— Чего уж там! — отмахивается Сашка, но ему приятно.

У Сашки Степакова в войну погиб отец. Матери было не до сына. Сашка сам устраивал свою жизнь. С детства он избрал своим методом не защиту, а нападение. Мастеру на шахте в Донбассе, который «по привычке» намекнул ему, что неплохо бы обмыть первую получку, он собственноручно расквасил нос. Сашку обсуждали на комсомольском собрании. Но за него вступились. Видели — парень он добрый, справедливый. А что горяч, так с кем не бывает.

Понадобились люди для работы на завалах. Сашка вызвался первым. За ним пошел его лучший дружок и тезка Александр Зорька. Работа эта была сложная и опасная. Нужно было каким-то шестым чувством угадывать все непредвиденное, что ждет тебя здесь. Это было сложное искусство. И Степаков очень быстро овладел им.

Тем, кто работал на завалах, хорошо платили. Сашка до денег не был жаден, хотя и не отказывался заработать. Однако, когда стал жениться на Зорькиной сестре, оказалось, что денег у жениха негусто. Все на друзей: с одним выпил, другому ботинки купил, третьему дал взаймы без отдачи.

— Ничего, жинка, — сказал невесте, — живы будем, не помрем. А богатство наживем.

Так и жили. Три года назад поехали в отпуск к родителям жены. В Киргизию. Вот в эти самые места. Да тут и остались. Сашка было артачился:

— Шахтер я. Мне в Донбасс.

Но родня навалилась всем миром:

— Тут тоже проходчики нужны. Вон туннель бьют в горах. Оставайся.

Остался. Начал работать на туннеле. Сперва проходчиком. Смотрят все — разбитной парень, знает дело, умеет с людьми ладить. Молодой, напористый, комсомолец. Как-то выступил на собрании:

— А что мы, хуже других? Почему у нас нет бригады коммунистического труда?

Начальник стройки слушал Сашку, кивал одобрительно. Потом наклонился, что-то сказал главному инженеру. Тот тоже кивнул головой. А комсорг стройки, сидевший неподалеку от них, поднялся и горячо сказал:

— Отлично, Степаков! Даешь бригаду коммунистического труда! Предлагаю поручить Степакову создать такую бригаду.

2

Прошел год. В степаковской бригаде ребята подобрались отличные. Сашка учил их работать. Все, что знал, все до мелочи он передавал им. На проходке штрека у них никогда не было заминки. Бывало, они проходили до метра в день. И это в твердых, как сталь, скальных породах. Но главный их козырь был завалы. Только их бригада благодаря таланту Сашки ликвидировала завалы умело и быстро. И чуть что, звали Степакова.

Может, потому, что Сашка был опытнее всех и человек «солидный», женатый, ребята так и ходили за ним стайкой. Когда в поселке открывалась вечерняя школа, он первым записался в восьмой класс. Ребята пошли за ним. Жена говорила Сашке:

— К чему тебе это? Дом вон строить собираемся — время дорого.

А он махал рукой. И вечерами таращил глаза на классную доску и все боялся: «Неудобно, если увидит кто, что носом клюю».

Работать в его бригаде считалось за честь. Новичков бригадир брал без особого энтузиазма.

Однажды прислали в бригаду двоих. Широкоскулый парень по фамилии Адылов окончил техническое училище.

— В забое бывал? — спросил у него бригадир.

— На практике.

Второй паренек, высокий, большеглазый, стоял рядом.

— А ты? Приходилось на шахте работать?

— Нет. Я только что из армии.

— Ну вот что, — сказал бригадир, подумав. — Тебя я возьму, — он кивнул Адылову. — А тебя нет. — И, словно оправдываясь, добавил: — Не могу же я всех подряд брать в бригаду.

Высокий паренек, ни слова не говоря, повернулся и вышел.

Звали его Виктор Прощенко.

3

Было ли у Виктора в ту минуту хоть чувство досады или неприязни, вполне понятное в его положении? Сейчас, вспоминая тот день когда он стоял перед Степаковым, он думает: ничего не было. Он тогда вышел и подумал: все правильно. Бригада коммунистического труда. Слаженный коллектив. А он кто? Отбойного молотка в руках не держал. И притом взял Степаков к себе Адылова. Не может же он, в самом деле, всех брать...

А вот позже, спустя год, когда Виктор сам уже был бригадиром и решено было вызвать на соревнование бригаду Степакова, он подумал про себя:

«Ну держись, товарищ Степаков! Мы тебе покажем, на что способны».

Но подумал об этом беззлобно. Скорее всего задорно, по-мальчишески. В нем вообще немало было мальчишеского. Они жили в комнате вдвоем с мастером смены Сашей Тарасюгиным. Саша сам из Ленинграда. Окончил институт. Считает, что это дает ему право поучать Виктора.

— Нету у тебя солидности, Витя, — говорил он. — Погляди на Степакова. Как он ходит? Вразвалку, будто на палубе. А как с начальством разговаривает? («У нас бригада комтруда. Положено — дай».) А ты? Малек ты, Витя.

— Ничего, — добродушно отзывается Виктор. Он лежит на кровати. Книга затеняет его лицо, и Тарасюгину виден только его упрямый подбородок. — Ничего, — повторяет Виктор. — Мы все сами...

— То-то и оно, что сами. А товарищ Степаков —

они и молоток отбойный в руки не берут. Вот так. Только руководят, значит. А ты все сам вкалываешь...

Но конечно же, это разговор в шутку. А всерьез Тарасюгин объясняет:

— Помнишь, что говорил Ленин о воспитании нравственности, о коммунистической морали? Он считал это одной из важнейших задач комсомола. А вот он, наш Степаков, внешне такой же, как мы с тобой, комсомолец. Ну какая тут коммунистическая нравственность? Он же рвач чистейшей воды...

Виктор потом нашел то место в речи Ленина, про которое говорил Тарасюгин. Прочитал несколько раз подряд, крепко запоминая...

Да, Степаков...

Выйдя тогда от Степакова, Виктор не остался без дела. Его взяли в другую бригаду. Сообразительный с детства и работящий, Виктор довольно быстро освоил проходку. Начальник буровзрывных работ как-то в шутку сказал своим взрывникам:

— Ребята, помяните мое слово: если этот парень станет бригадиром, нам покоя не будет.

Тарасюгин решил создать бригаду из ленинградцев. Охотников нашлось много. Тут вообще много ребят из Ленинградского метростроя. Бригадиром Тарасюгин предложил Виктора Прощенко. В бригаде были отличные ребята: Николай Титов, Сергей Рассказов, Иван Игнатов. Сильные, добрые, смелые. Не было у них только одного — умения работать в скальных породах.

— Ну что ж, будем начинать с самого начала, — сказал бригадир.

Это было в тот день, когда на стройку приехали снимать документальный фильм. Главным героем был бригадир Александр Степаков.

4

Глубокой ночью Степакова подняли с постели:

— Вставай! Завал!

— Что? Где? — как ужаленный вскочил Сашка с постели и ринулся к двери. На улице прохлада привела его в себя, и он уже спокойно выслушал сбивчивый рассказ проходчика Виктора Белорусса.

— Мы штроссы бурили на седьмом пикете. Вдруг слышим — как ухнет.

— Никого не придавило?

— Нет. Сейчас там начальник Павленко. Сказал: «Завал сложный. Надо поручить только Степакову».

Сашка задержался, передохнул. Спросил еще раз:

— Так и сказал?

— Точно.

Пошли медленнее. В туннеле пахло сыростью. Хлюпала вода под ногами. Желтые огни смутно проглядывали впереди сквозь пелену пыли. Пулеметными очередями захлебывались перфораторы. Гулкое эхо наотмашь хлестало по каменным сводам.

Павленко стоял хмурый возле самосвала, не сводя сумрачного взгляда с завала. Он думал о том, что вот еще одно непредвиденное обстоятельство, которое отодвигает долгожданный день сбойки туннеля. А этого дня в управлении ждут не дождутся. И из Москвы названивают. Подошел Степаков. Поздоровался. Павленко пожал ему руку:

— Вот работенка, бригадир.

— Вижу.

— За сколько дней уберешь завал?

— А сколько это будет стоить?

Павленко бросил коротко:

— Семьсот.

Степаков еще раз, прищурившись, оглядел завал, сказал:

— С хлопцами надо посоветоваться.

...Они все стояли рядом — все, кто был в ночной смене. В брезентовых робах, в перепачканных касках. И переживали так же, как Павленко, досадовали на задержку и думали о том, как хорошо было бы скорее пройти сбойку на полный профиль. Тогда не надо будет гонять машины через опасный перевал к Южному порталу, не надо будет по понедельникам идти пешком из дома в рабочий поселок, идти через хребет в бурю, в метель...

Виктор тоже стоял среди других у завала. Рядом разговаривали:

— А что тут такого?

— Как на базаре...

— Не даром же работать.

— Завал — дело особое, опасное.

— Вот Степаков этим и пользуется...

Понемногу пыль улеглась. С потолка свисали по-

кореженные металлические балки, голые прутья арматуры. Тонкой сверкающей струйкой звенела вода, просочившаяся откуда-то сквозь многометровую каменную толщу.

Виктор стоял в полном смятении.

5

Наряд

Восстановление завала на пикете 18 + 70. Начало 17 апреля. Окончание 19 апреля.

Выплачено бригаде тов. Степакова 700 (семьсот) рублей.

Начальник строительства Павленко.

6

Сначала дрогнула земля, и ящик, на котором они сидели, закачался и заскрипел. Потом взрыв глухо ухнул где-то в самой утробе горы. Капля росы с куста упала Виктору прямо на руку. Он поднес руку к глазам, рассматривая, как в капле отражаются и облака, и синее небо, и горы, сказал:

— Взорвали. Подождем, пока рассеется.

Далеко внизу в легком мареве раскинулась долина. Дорога чуть приметно петляла по ней. Деревья были окутаны невесомой зеленой дымкой. Маленькой букашкой ползла машина вдоль тонкой ленты речушки. В долину шла весна. А здесь еще лежат по склонам глубокие снега.

— Надоело мне тут, — признался Мащенко. Он снял каску, пригладил свалявшиеся волосы.

— Отчего же не уедешь? — спросил его Виктор.

— Отчего? Сначала думал: подзаработаю и тронусь. В Сибирь куда-нибудь. Мне мороз больше по душе. А тут бригадиром поставили. Неловко. Бригаду надо тянуть. Потом думал: сбойки дождусь и махну.

Мащенко замолчал.

— Ну? — поторопил его Виктор.

— Что ну? Теперь чувствую, никуда не уеду и после сбойки, потому что хочется увидеть, как первая машина по туннелю пройдет, и первые — люди, и отары пойдут.

Потом они шли туннелем на свои пикеты, и Мащенко спросил:

— Как ты думаешь, кому сбойку поручат?

— Не мне уж, это точно, — хмуро отозвался Виктор.

Мащенко, надвигая каску глубже на лоб, сказал зло:

— Рвачи они.

— Кто?

— Да все. Твой Степаков тоже. Вон завал.

— А что с завалом? Во-первых, в этом деле у Сашки действительно талант. И потом — не даром же им работать.

— Но не торговаться же как на базаре. Я замечаю, Сашка вообще чего-то не туда тянет: дом затеял строить. На кой черт он ему? Кончим туннель — уедет же. Он проходчик, а тут больше делать нечего. Школу бросил. Ребята начинают обижаться: только командует, а сам ничего не хочет делать.

Виктор слушал молча. В словах Мащенко было много справедливого. Но ему по-прежнему многое нравилось в Степакове. И потому он сказал:

— Напрасно ты про Сашку. Парень он хороший! А если есть что, так прямо ему надо сказать. Открыто.

7

Вечером накануне сбойки туннеля Степакова видели в клубе. Был он трезв. Но все в нем так и ходило ходуном. Это был прежний Сашка, которого знали еще несколько лет назад: веселый, щедрый, добрый, душевный. Он ни от кого не скрывал своей радости:

— Моя сбойка. Это точно. Я все рассчитал. Завтра гуляем, ребята!

Степаков все рассчитал верно. Он учел, что слабосильная бригада Мащенко, в которой всего двое бурильщиков, не сумеет за ночь забурить и взорвать оставшийся целик. А утром придет Степаков, и к обеду сбойка будет готова. Начальство тоже все торжества назначило на полдень.

Ребята из бригады Прощенко, только что вернувшиеся со смены, ходили хмурые и злые.

— Вот так: мы вкалывали, а сливки Степакову...

Ночью Виктора разбудил смениый мастер Саша Тарасюгии. Виктор спал чутко: ие до сна в такую иочь — предстоит пробиваться в каменной скале.

— Что тебе? — поднялся Виктор.

— Надо помочь Мащеико, — сказал Тарасюгин.

Виктор иадел ватиик, пошел к двери; с порога вериулся.

— А как же Степаков? Сбойка его. Неудобио.

— Слушай! — закричал Тарасюгин. — Иди ты к черту со своим Степаковым! Заладил: «Степаков, сбойка». Наша сбойка. Поиял? Иди буди ребят.

...Желтые пятиа фоиарей раскачивались иа коротких проводах. Огромиые несуразиые тени людей метались по мокрым стенам туинеля. Перфоратор иатужио взвывал и дергался в руках у Виктора. «Руки слабеют. Устал», — подумал ои и покосился иа Гришку Архипова, работавшего рядом. У того пот ручьями лился изпод каски, ио ои даже ие вытирал его. «Еще одии шпур забурю и передохиу», — подумал Виктор.

К утру все было коичеио. Взрывиики зарядили шпуры и произвели отпалку. Взрыв был иесильный. И газа было немиого, поэтому взрывиики, нарушая технику безопасности, разрешили спустя иесколько миигут бежать к сбойке. Огромное отверстие с рваиыми краями зияло чуть ли ие во весь диаметр туииеля. И где-то там, далеко впереди, чуть приметно угадывалось светлое пятио выхода туииеля иа южиый склои. Пятио светлело все больше и больше. Всходило солице. Ребята орали как сумасшедшие и, забыв про всякую технику безопасиости вообще, подбрасывали вверх свои метростроевские каски.

Виктор вышел из забоя и присел иа солицепеке. Радостиое ощущеиие содеяииого, еще минуту иазад будоражившее его, прошло. Усталость и апатия иавалились на него. Клоиило ко сиу. Он сидел, опустив голову. Ни о чем не хотелось думать.

Степаков подошел с серым, осунувшимся лицом.

— Что, — выдохнул он, — премии тебе захотелось? Выхватил у товарища кусок и радуешься. Слава моя тебе покоя не дает. Завидуешь, ставишь подножки. Ну нет! Меня голыми руками ие возьмешь.

Ои погрозил Виктору пальцем и пошел в тунiель, кореиастый, плотный.

— Слушай, Сашка! — сорвался с места Виктор. — Да ты что? Мы же не за деньги. Мы помогли Мащенко.

Степаков круто повернулся и, глядя в упор на Виктора побелевшими глазами, раздельно сказал:

— Просто так работают ослы. А у вас в бригаде все учатся.

Виктор стоял на дороге прямо в луже воды и внимательно рассматривал свои тяжелые натруженные руки.

8

Вот и в Тюя-ашу пришла весна: ясная, солнечная, цветистая от разнотравья. Горы раздвинулись, стали выше, и только снежные шапки так и остались на самых вершинах да еще на перевале.

Все меньше машин теперь ходило на перевал. Сбойку выровняли, подправили дорогу в туннеле. Строители беспрепятственно ездили туда и обратно по всему туннелю. Понемногу стали пропускать машины с грузами, которые шли из Фрунзе в Ош и обратно. А уж первого пешехода, случайного парня, шедшего из одной долины в другую, качали чуть ли не до потери сознания и на память подарили метростроевскую каску. Теперь все чаще с гор спускались чабаны. Они рассказывали, как трудно перегонять овец через перевал, как гибнет скот. Они уже сейчас благодарили строителей за туннель, которого пока еще не было.

Главные работы в туннеле были закончены. Теперь нужно было бетонировать стены, свод, прокладывать дорогу в основании. Проходчикам тоже предстояло немало дел: надо было осваивать оставленные с зимы пикеты. Осваивать штроссы — нетронутые выступы скалы по бокам туннеля.

К Виктору пришел парень из бригады Степакова. Стал просить:

— Возьми к себе.

— Да ты чего? У вас же бригада.

— Разваливается наша бригада, Витя.

Бригадир Сашка Степаков в это время, закатав до колен рваные штаны, месил глину в яме. Бригадир строил дом. Он ходил по кругу, как слепая лошадь на чигире, с трудом вытаскивая ноги из чавкающего месива. Пот лил с него градом. Грязная рубашка, вся мок-

рая на спине, прилипла к телу. Степаков вытирал лоб рукавом и все ходил, ходил...

Два месяца назад ему дали отпуск. Он затеял ставить дом. Отпуска не хватило. Тогда он взял еще месяц за свой счет. Начальник участка сказал ему:

— Гляди, как бы бригада не развалилась.

— У меня хлопцы верные. Там Зорька.

Но Зорька ушел учиться. Адылов тоже. В институт. Витька Белорусс на экскаватор пошел. Однажды, когда все еще были вместе, собрал их Степаков, сказал:

— Гляди, хлопцы, заработки низкие стали: основные-то работы кончились. Так что если у кого что, не держу.

Ребята молчали. А Адылов плюнул в сердцах и, от волнения сильно путая русские и киргизские слова, сказал:

— Так мы разве из-за этого держимся?

Степаков не понял, что имел в виду Адылов. Но ребята молчали, и он не стал уточнять. Только повторил опять:

— В общем, глядите, хлопцы.

В тот день ему пообещал один человек в Кара-Балтах достать дверные косяки по дешевке, и Степаков был занят своими мыслями. И то, что сказал он ребятам, сказал для порядка. В душе он был уверен: никуда не уйдут. Что они без него? Любой завал — их позовут. А главный мастер по завалам он, Степаков.

Да, вот так вышло. Бросили его. Ну ничего. Он достроит дом и вернется. Всех соберет. И Зорьку вернет. И Адылова.

— Саня-я! — закричала высунувшаяся из окна жена. — Чего ты там топчешься как неживой? Глина же нужна позарез.

Степаков поднял голову на голос жены. Опять промелькнул перед глазами Адылов. Сидели за одной партой — задачи по геометрии помогал решать... Витька Белорусс. На пятнадцатом пикете завал был. Витька двое суток не спал... Зорька припомнился... И еще какие-то добрые слова возникли в памяти. Степаков все силился их припомнить, чьи они и о чем. Что-то важное, очень важное уплывало из его сознания, и хотелось ему ухватиться за это важное...

— Ну чего глаза вылупил? — опять закричала жена. — Глина нужна! Не слышишь, что ли?

— Иду...

Он вернулся из отпуска бригадиром без бригады. Остался только один Сильченко. Предложили работать на штроссах. Он отказался.

— Нашли дурака! На штроссах копейки платят.

Он сидел дома еще полмесяца. Думал, позовут. Не звали. Тогда он явился сам. Начальник участка сказал:

— А я тебя давно отстранил от бригадирства.

Степаков скис. Но не сдался. На другой день он принес справку: красил полы, обварил руки — вот бюллетень.

— Хорошо, — согласился начальник участка, — только с бригадирством не выйдет.

Сашка стучал кулаком по столу. Писал в Москву. Даже ходил к прокурору.

Он стучится до сих пор. Работает в туннеле и стучится.

9

Два человека прошли по снегу. Прошли и разошлись. И каждый думал о своем. Степаков думал: «Радуется Витька: свалил Степакова. Не может забыть, что я не взял его тогда в бригаду. Рано радуется».

Если б знал Степаков, о чем думает в эту минуту Виктор.

Странные чувства испытывает Виктор. Когда он не видит Степакова, в его памяти встает тот веселый, бесшабашный работяга парень, которого он знал раньше, в первые дни, когда пришел на стройку. Только такому человеку он мог простить обиду. Что там говорить, была обида. Теперь он знает это точно. Еще бы — другого взяли, а его нет. Но теперь же, когда он видит узкие Сашкины глаза, его мелочность, жадность к деньгам и какую-то не вяжущуюся с его прежним обликом прижимистость, скаредность, в груди у Виктора поднимается глухое презрение. И презрение это к тому старому и чуждому, что носит в душе своей этот парень, против чего восстает все Витькино существо. Вся его жизнь.

Но и другая мысль приходит ему на ум: те ленинские слова о воспитании коммунистической морали касались

всего комсомола. Так не и его ли, Виктора Прощенко, вина в том, что проглядел он, как споткнулся в жизни Степаков?..



ТЕПЛО РУКИ

Отчего же теперь, когда по-другому засинело небо и пахнуло ранней весной, Магомед Махмудов все чаще возвращается памятью к той минувшей осени?..

В тот день у них кончилась мука. Но они держались. А что было делать? Этот участок трассы был самым пустынным — ни сакли, ни дыма в горах. Магомед сказал себе: может, это к лучшему — трасса свободная, овцы вволю попасутся. О еде он подумал потом, когда услышал, как чабаны стали ворчать:

— Подвел нас парторг Бутаев. Обещал муки подбросить, а самого след простыл.

Самый молодой из чабанов комсомолец Магомедов (его звали Солдатом — два года, как из армии демобилизовался), заросший черной щетиной по самые глаза, мрачно произнес:

— Бутаеву что? Бутаев сейчас хинкали кушает.

Магомед его оборвал:

— Перестань. Ты же знаешь — он «вертушки» выбивает.

— Выбивает? — распалялся Солдат.

Они стояли друг против друга уставшие, с покрасневшими от дымных костров глазами. Старший чабан Узаллаев закричал издали:

— Магомед! Эй, Магомед! Ты мне нужен для разговора!

Магомед подошел. От него пахло шерстью и овечьим молоком.

— Что там у вас? — спросил Узаллаев.

— Устали люди, сам видишь...

— Что будем делать, Магомед? Того и гляди падеж начнется...

Магомед молчал.

— Чего молчишь? Боишься?

— Мне чего бояться? За падеж с тебя первого спросят!

— А с тебя, думаешь, нет?

— Да и с меня тоже, — вздохнул Магомед.

Уезжая вперед по трассе, парторг сказал ему:

— Вместо меня по партийной линии остаешься.

— Над кем же я остаюсь, если я один тут коммунист?

— Вот над собой и остаешься...

Сказать-то легко. А вот поступать как, ежели что доведется, — тут сам кумекай...

В тот день никто — ни Узаллаев, ни сам Магомед еще не знали, что самое трудное впереди и все обернется так, что хотя Узаллаев и старший чабан, но решать судьбу всех их будет Магомед. И в трудную минуту потянутся чабаны к Магомеду с той мыслью, что и Узаллаев — с него, мол, Магомеда, спрос больше, он поступит так, как нужно, потому что он коммунист...

Каждую осень, как ручьи с гор, извиваясь в глубоких теснинах, выплескиваясь на простор долин, текут многотысячные отары вниз, «на плоскость», как здесь говорят, с летних пастбищ на зимние. Медленно тянутся они длинными скотопрогонными трассами. Дождь ли, ветер ли с гор, или первый мокрый снег, а они идут, идут. Путь этот далек и труден. Выбиваются из сил овцы, устают чабаны.

Несколько лет назад появилось новшество: отары шли с гор до станции. Здесь их погружали в специальные поезда «вертушки», и дальше они следовали по железной дороге. Так было и на этот раз. В точно назначенный срок каждый район начал перегон скота по заранее указанным трассам. Одна из этих трасс вела на станцию Манас...

Ничто, казалось, не предвещало беды. Первые отары уже достигли станции. Началась погрузка. Но случилось так, что какой-то колхоз пригнал овец больше, чем заявил раньше. График перегона нарушился. Почти шестьдесят тысяч овец скопилось на станции. А сзади напирали другие. Сорвавшись с гор, они уже не могли остановиться.

Великий шум и гомон день и ночь качался над станцией Манас. А с гор все шли и шли новые отары: по голым, выбитым прошедшими впереди отарами пастбищам, мимо замутненных колодцев, мимо сельских мага-

зинов, в которых чабаны скупали последние, годичной давности пряники и консервы...

Вот в какой переделке оказались Магомед и шестеро его товарищей из Лакского района. В волнении и беспокойстве глядя на исхудавших овец, на усталые, черные от ветра лица чабанов под бахромой мохнатых шапок, Магомед только сейчас с пронзительной ясностью, от которой на миг похолодело и остановилось сердце, осознал всю сложность создавшейся ситуации. Назад, в горы, им хода нет. Впереди, до самой станции на выбитой трассе — тысячи овец. И они со своей отарой теперь как в ловушке. А тут еще продукты кончаются.

— Мука вся вышла, — сообщил Узаллаев.

— Мясо есть, продержимся.

— А сколько?

— Что сколько? — не понял Магомед.

— Сколько держаться?

Если б знал Магомед, сколько держаться. Если б знал он, что так все выйдет, разве промолчал бы на последнем собрании. Сидел в уголке, досадовал — с чем отправляемся: продуктов мало, обувь износилась, палатка дырявая. Подумал: выступить, сказать? А потом решил: парторг ведь тоже идет с отарами. Ему и решать, что и как. И промолчал. А теперь вот отвечать надо. Тому же Узаллаеву надо отвечать, потому что он не был на партийном собрании. И Магомед отвечает:

— До конца будем держаться. Как на фронте, брат. Иначе нельзя.

Осень гналась за ними по пятам. Все ниже сползали снега с гор. Чабаны жгли костры по ночам. Спали не раздеваясь. Считали дни.

То, чего так боялись все, случилось на рассвете. Перепуганный Солдат закричал, срывая с Магомеда бурку:

— Овца! У меня пала овца!

Рядом закудахтал переполошенный Узаллаев:

— Падеж!

Магомед, вдруг сразу пришедший в себя от одного этого слова, раздельно произнес:

— Никакого падежа нет. Поняли?

Овца лежала, закатив белые глаза. Магомед схватил ее за теплую шею, приподнял голову. Он чуть не задохнулся от горя и обиды. Он думал о том, что вот если падет эта первая овца, с нее и начнется. Значит, надо сделать все, чтобы спасти ее... Магомед поставил ее на

ноги, и она, шатаясь, побрела вперед, как слепая. Он догнал ее, взвалил на плечи, сказав чабанам:

— Ничего, я сам понесу. Она отойдет...

Солдат виновато затрусил рядом:

— Видал? А? А я уж думал — ну, капут.

Магомед устало подмигнул Солдату.

— То-то, — сказал, через силу улыбаясь. — А ты «падеж!»... Нет падежа. Не должно быть.

— Так точно, нет падежа, — ответил Солдат и зачем-то козырнул Магомеду. Так хочется Солдату быть таким вот твердым, бескомпромиссным и всегда спокойным, как Магомед...

Вперемешку с дождем пошел снег. Сбившись в кучу, отара двигалась медленно. Старый пес Бугу метался, подгоняя отбившихся овец. То один, то другой чабан взваливал на плечи слабых овец.

Магомед брел впереди отары. Овца была тяжелой, толстая шерсть жарким воротником обволакивала шею. Пот лил с Магомеда градом. Неужели нельзя поставить по трассе вагончики для чабанов, думал Магомед, построить ветеринарные пункты, склады, подбросить концентраты на такой вот, как сейчас, случай, пустить передвижные автолавки. Чтоб все было по-человечески, как у хороших хозяев. Говорят, на других трассах все это есть. Может, это только у них так? А почему? Вот он промолчал на партийном собрании, когда говорили о перегоне. Думал: парторг с нами идет — он отвечает за все. Может, так же где-то кто-то там, «наверху» промолчал, как он, в подобной ситуации, и нет на трассе вагончиков, и падают овцы, и мучаются чабаны. Откуда это во мне и в другом: боишься за что-то отвечать, боишься решать. А потом приходится жестоко расплачиваться, как сейчас...

С детства Магомед запомнил рассказ отца о том, что у него есть друг, старый кубачинский кузнец. Так вот кузнец этот был в числе тех, кто в двадцатые годы был на приеме у Ленина. Они тогда подарили ему чернильный прибор, который и сейчас стоит в Кремле в музее Ленина.

— Когда прощались, — любил рассказывать отец, — Ленин руку пожал всем по-братски. И моему другу Мусе — тоже...

Магомед слушал и думал: Ленин пожал руку Мусе. Муса друг моего отца. Муса пожимал руку отцу. Отец —

мне. Выходило, как бы и мне, Магомеду, передалась частичка тепла ленинской руки...

Снег вдруг прекратился. Бледный круг солнца, похожий на голову сыра, висел низко над землей. Справа, сразу за горой, открывался вход в долину. Магомед видел вешки, отмечавшие линию трассы. За вешками — колхозные пастбища, на которые они не имеют права заходить. Он оглянулся: отара растянулась. Там и сям лежат подбившиеся овцы, валятся с ног чабаны.

— Бугу! — закричал он хрипло. — Эй, Бугу, поворачивай!

Бугу заворачивал отару в долину.

А овцы, сбиваясь с шага, уже ринулись вперед сами, почуяв корм и воду...

Но тут был начеку парень на мотоцикле. Он отогнал овец за вешки, слез с мотоцикла, стал закуривать. Спички гасли, кончилась последняя.

— Эй, дайте прикурить!

Кто-то предложил:

— Спустить на него Бугу.

— Я тебе спущу, — погрозил парень кулаком, на всякий случай садясь на мотоцикл.

Магомед закричал:

— Ладно! Иди сюда. Поговорим.

Подошел. Закурили вместе. Парень стал объяснять.

— Вы меня поймите. Сам был чабаном. Теперь вот завфермой. Три месяца, как назначили. Говорят — ты, как молодой коммунист, ферму поднимай. Вы вот на зимние пастбища уходите, у меня пять тысяч овец тут остаются. Их же до зимы додержать на подножном корму надо. А где их держать?

Стоят чабаны, чешут затылки: свой брат чабан, они его понимают. А кто же их поймет с их бедою?

Магомед, отрешенно глядя на низкое небо, на горы окрест, с тоской думал: «Ну как его убедить, этого завфермой? А вот был бы парторг Бутаев — он бы, наверное, убедил. Ах, парторг Бутаев, парторг Бутаев...»

Магомед не знал, что, приехав на станцию Манас, парторг ловил очумелого дежурного в красной фуражке, требуя отправить отару в срок. А поймав наконец и ничего не добившись, по совету знающих людей отправился в Махачкалу. Он ходил по длинным коридорам Министерства сельского хозяйства. Его выслушивали, куда-то звонили, с кем-то говорили, и выходило,

что вроде бы все в порядке: есть график перегона, погрузка идет. А он пытается хоть на несколько дней раньше вызволить отару «с трассы», добыв «вертушки»...

Шел пятнадцатый день пути. Выбиваясь из последних сил, они кружили с отарой на месте. Знали: чем ближе к станции, тем хуже пастбища. А тут тоже нет травы и плохо с водой. Чабаны шли к Магомеду.

— Говори, Магомед, как быть?

— Вот-вот падеж начнется.

— Решай, Магомед.

Был один выход. Никто не говорил о нем вслух. Но все имели его в виду: в последнем колхозе им предложили на два дня пастбища в обмен на несколько баранов.

Разговор был коротким:

— Овцы у нас колхозные. За такое дело, знаете...

— Пастбища у нас тоже не собственные.

Думай, Магомед, думай. Узаллаев молчит. Он не хочет решать. Конечно, можно проклинать тот колхоз, который первым пригнал на станцию Манас больше положенного скота и тем нарушил график; министерство, которое не предусмотрело всего этого; тех людей, что не пускают на свои пастбища, и этих, требующих в обмен за пастбища колхозных баранов. Можно кричать, возмущаться и искать виновного: ветер унесет слова в горы. Но овцы-то — вот они. Живые. Свое, народное добро, которое надо сохранить любой ценой. Но если под свою ответственность отдать несколько колхозных баранов за пастбища просто так, — за это придется отвечать. Потому молчат чабаны. Никому не хочется брать на себя такую ответственность...

Вот и остался ты, Магомед, по партийной линии сам над самим собой. Над своей совестью. Над своими поступками. Так иной раз в обыденной своей повседневности неожиданно повернется жизнь и спросит кого-то из нас сполна: «Ну-ка, какой ты коммунист? Много ли сможешь взвалить на свои плечи?..»

Магомед молчит. Он думает. Он думает о себе. О своем отце. О друге своего отца — Мусе.

— Ладно, — говорит Магомед. — Пусть берут они этих баранов. Пусть они ими подавятся. Зато мы спасем остальных.

Старый Бугу с лаем заворачивал отару на свежие пастбища...

Спустя два дня приехал в отару Бутаев. Небритый, в негнущемся плаще. Коротко распорядился:

— Снимаемся. С утра погрузка.

Магомед сказал ему виновато:

— Ты извини. Я плохо подумал о тебе.

Парторг внимательно посмотрел на него и увидел вроде бы что-то новое в лице: то ли строже, то ли старше стал.

— Что там? — сказал парторг в ответ. — Правильно подумал. Я сам о себе пока не очень высокого мнения...

Они свою отару привели без потерь. Все две тысячи. За вычетом тех, которых отдали за пастбище. За них с Магомеда еще спросят...

Отчего же все чаще снится по ночам тот перегон? Может, оттого, что весна проклюнулась и скоро той же трассой идти обратно. На летние пастбища. В горы, на которых всегда белый снег.



БРЯНСКИЕ ПРАВИЛА

Когда он уходил — кончалась смена. Людской поток хлынул из цехов на аллею и сразу заполнил ее. Старый мастер Зеленков тяжело шел один посреди аллеи. Окно из партбюро было распахнуто, Сергей Царьков смотрел вслед мастеру, и ему невольно захотелось сравнить старика Зеленкова с кораблем, который первым выходит в море навстречу ветру. Секретарь партбюро Славнов, перехватив взгляд Царькова, сказал в задумчивости:

— Вот если бы каждый из нас... Да вот так...

Царьков согласно кивнул головой. Только что они тут втроем долго говорили о преемственности традиций, поколений... Полмесяца назад Ивана Филипповича Зеленкова проводили в отпуск. Встречая в цехе дочку Зеленкова Люду, Славнов любопытствовал:

— Ну как там дед отдыхает? (Зеленкова уважительно называли дедом, хотя ему еще шестидесяти нет.

Звали так за неторопливость, рассудительность, житейский опыт.)

Люда только рукой махала:

— Извелся весь. Не может без дела. Каждый вечер давай ему отчет: что и как в цехе.

Сегодня Зеленков не выдержал, сам в цех пожаловал. И прямо в партбюро, к Славнову. Подавая жесткую ладонь, журил:

— Ты что ж это, Михалыч, ничего не сообщаешь? Пришла вон дочка, докладывает: в связи с обменом партдокументов собеседования с коммунистами уже проходят. А я что ж, как в отпуске, так, выходит, меня в сторону.

Старик был коренаст, сед, с крепким загаром на лице.

Славнов отшутился:

— С тобой-то что беседовать: ты вон весь как на ладони, всему заводу известный.

— Я, может, и известный, а вот что внутри у меня — это ж не все знают, — тоже как бы в шутку сказал Зеленков, плотно усаживаясь на предложенный стул. — Я тут от нечего делать целыми днями напролет телевизор смотрю. И вот кое-какие мысли у меня возникли.

— О чем же?

— Об этой самой проблеме поколений.

Славнов, хорошо и давно знавший Зеленкова, в удивлении поднял брови.

— Говорят, что вот там у них на Западе есть эта проблема, а у нас нет. А я считаю, что она и у нас имеется в наличии.

— Так, так, — сказал Славнов, усаживаясь напротив старика, — это уже что-то интересное.

— Но только у нас эта проблема, я бы сказал, другого порядка. — Зеленков лукаво прищурил глаз. И в это время в партбюро зашел Сергей Царьков, прямо из цеха, вытирая на ходу руки ветошью. От него пахло маслом и окалиной.

Славнов обрадовался:

— А вот и представитель молодого поколения кстати. Садись, послушай разговор.

Старик Зеленков и в самом деле высказывал интересные мысли...

Бежица — рабочий район Брянска. Тут так и говорят: «Наш, бежицкий». Это значит — с Брянского ма-

шиностроительного завода. Заводов в Брянске много. Но уж раз рабочий бежицкий — это значит что-то в нем свое, особое. И оно в самом деле есть это особое, корнями уходящее в славный 1918 год. Это нравственный дух высокой рабочей сознательности, который по-особому проявился в памятном мае восемнадцатого года. Завод только что перешел в руки рабочих. Они стали полноправными его хозяевами и хотели, чтоб порядки на нем были новые, советские. Вот тогда-то и были приняты выработанные сообща (это значит, что каждый рабочий вложил хоть частичку своего понимания нового, своего отношения к новой жизни и к новой власти) правила внутреннего распорядка.

Определяя нормы внутризаводской жизни, они служили высокой цели создания пролетарской сознательной дисциплины труда, повышения производительности, культуры производства. И в этом их непреходящая ценность. Рабочие направили правила Владимиру Ильичу Ленину. Ознакомившись с ними, Ленин написал участникам проходившей в те дни конференции представителей национализируемых предприятий, чтобы конференция «одобрила или, посредством резолюции, узаконила внутренний распорядок по типу брянских правил в интересах создания строгой трудовой дисциплины...».

И как память об этом событии на заводе у входа сооружен мемориал «Брянские правила». На граните высечены слова правил.

Идут рабочие на смену — видят эти правила.

Со смены возвращаются — проходят мимо мемориала.

А еще бывают особенно торжественные минуты — посвящение в рабочие. Это происходит на виду у всего рабочего люда, в присутствии седых ветеранов, которые тут стоят целыми династиями. В такие минуты молодеют старые ветераны и по-особому серьезнеют юноши.

Сергей Царьков навсегда запомнит эти минуты и слова рабочей клятвы, которую он давал вместе со своими сверстниками у мемориала. Он думал об этом, вспоминая памятный день, прислушиваясь к тому, что говорит дед Зеленков.

— Правила высечены на камне. Но как передать дух. Не букву, а дух «Брянских правил»?

Зеленков сразу оживился. И опять они заговорили

о том, как принимают в пионеры у мемориала, как вручают комсомольские билеты, как дают наказ призывникам, отправляющимся в армию.

— А выступления ветеранов перед молодежью? — вставил Сергей. — Да вы же сами выступали.

— И этого мало. Я вот думаю... — начал Зеленков. — Я затем и пришел к тебе, Славнов, в партбюро... Надо, чтоб все наши ветераны были наставниками молодых рабочих. И не только чтоб учили их профессиональному мастерству, а делали так, чтоб молодежь еще лучше впитывала дух «Брянских правил», одобренных Ильичем... Вот о чем я думаю.

Потом, когда старый мастер уходил по аллее, как корабль навстречу ветру, а Сергей Царьков смотрел ему вслед, тогда-то и сказал парторг цеха Славнов:

— Вот если бы каждый из нас... Да вот так, как дед Зеленков... Гляди, в отпуске человек. Отдыхай — чего еще. А он мыслями на заводе. Проблема, говорит, поколений имеется. И он с этой проблемой прямо к нам в партбюро...

Сергей Царьков возвращался к себе в цех и думал: в самом деле, не скользим ли мы иной раз по поверхности — торжественное собрание, клятва у мемориала, выступление ветерана. Но если мы хотим быть похожими на наших отцов и дедов, на тех, кто вырабатывал эти самые знаменитые правила и прожил прекрасную жизнь, руководствуясь ими, — всегда ли мы пристально приглядываемся к ним, учимся у них, перенимаем у них то важное, что составляет суть настоящего рабочего и коммуниста.

...С Сергеем Царьковым меня познакомил парторг Славнов.

— Отличный парень, — рекомендовал он. — В цехе избрали его партгрупоргом, хотя он совсем еще молод. По молодости его, бывает, чуть-чуть заносит...

Я поинтересовался у Сергея, правда ли это. Он откровенно признался:

— Правда. Чего скрывать. Только что бегал в комсомольцах, а тут вдруг — партгрупорг... Верно, заносит иной раз, но я стараюсь, держусь.

Как же так вышло, что молодого совсем парня, недавнего комсомольца, коммунисты избрали партгрупоргом. В партгруппе народ солидный — кадровые рабочие, у иных партийный стаж с Великой Отечествен-

ной, а то и раньше: Петр Леонтьевич Кишиневский в партию еще в тридцатых годах вступал. Он-то и предложил на собрании кандидатуру Царькова: «Сергей человек думающий. Комсомол ему хорошую закалку дал».

Молодые ребята в цехе откровенно, по-хорошему завидуют Сергею Царькову. Он отличный фрезеровщик. За один только год ему уже дважды присваивали звание лучшего фрезеровщика министерства. Царьков награжден значком «Отличник социалистического соревнования».

Высокий и худощавый, он смущался при первой беседе. Но потом сказал:

— Вы не смотрите, что я на вид такой тихий... Я в армии, знаете, старшиной был...

Он умеет быть по-настоящему принципиальным. И эта принципиальность у него от высокого сознания партийного долга. Механический участок, где работает Царьков, в общем-то невелик. Вроде бы все тринадцать коммунистов его партийной группы как на ладони. Но это только так кажется. Он должен и хочет знать каждого из них как себя самого. Вот Люда Зеленкова, фрезеровщица, очень хочет работать как Царьков и даже лучше. В этом сама суть соревнования. И молодой партгрупорг Царьков вовремя заметил это и принял вызов. Теперь Людмила Зеленкова — лучшая фрезеровщица цеха. Сергей дал ей первую в своей жизни рекомендацию в партию.

У Сергея Царькова острый глаз. Он подмечает многое.

Тот разговор с дедом Зеленковым у секретаря партбюро цеха не остался бесследным...

У них в тепловозном цехе работает старый мастер, человек добрейшей души Петр Леонтьевич Кишиневский. Тот самый, что Сергея в партгрупорги предложил. Если ты хмурый заступил на смену, подойдет, спросит: «Ну, дома что-то приключилось?» Не из вежливости спросит, не по долгу, а из сердечности. И поможет по работе без лишних слов, молча, с доброжелательностью. Шума у него на участке меньше, чем у других. А по итогам, смотрят, опять участок мастера Кишиневского на первом месте.

Повести за собой людей хорошим примером. Или даже самой обыкновенной шуткой словно осветить высокую мысль. Умеет это старый мастер. Вот пример. Ре-

бята узнали, что мастер уходит на пенсию, и носы повесили. Он им: «Чего приуныли? Подарок будет?» — «А как же!» — чуть не обиделись ребята. «Знаю я вас, небось хрусталем каким-нибудь отделаетесь». Ребята ему встречный вопрос: «Ну а откровенно — вы-то сами что бы хотели?» — «Есть у меня одна мыслишка, да боюсь, не потянете». Хлопцы переглянулись: «Потянем, Леонтич, скинемся и потянем». Мастер даже крякнул от досады: «Не про то я... Хочу, чтоб тепловозу, который мы собираем, Знак качества присудили. А то что же выходит: уйду я на пенсию, а тут ему знак дадут. И тогда всем станет ясно: вот кто мешал — Кишиневский. Давно пора было отправить его, как говорится, на заслуженный отдых». Мастер говорит, а у самого смешинки лукавые в глазах: «Ну так как?»

«Вот оно, то самое, о чем они говорили тогда в партбюро у Славнова, — думает про себя Сергей Царьков, — это надо брать у ветеранов, этому учиться, потому что у самого Кишиневского такое отношение к жизни, к делу идет от кого-то, кто, наверное, стоял у истоков «Брянских правил». И теперь через этих ребят, через него, Сергея Царькова, пойдет дальше, к другим... Так оживает камень мемориала и через букву передается людям самый дух «Брянских правил».

Спустя несколько дней на собрании партгруппы в цехе коммунисты долго говорили о работе наставников, о воспитании трудовых традиций и особенно горячо выступал Сергей Царьков. Иван Филиппович Зеленков, специально приглашенный на это собрание, удовлетворенно кивал головой. Ему виделся в Царькове он сам — молодой, веселый, сильный...

После собрания Иван Филиппович пошел показывать нам с Царьковым свою малярку.

Всю жизнь проработал Иван Филиппович Зеленков на заводе, не считая военных лет, которые он провел на бронепоездах. Был токарем, слесарем. Последние двадцать лет — сменным мастером в малярке. Так называют на заводе малярно-сдаточный цех. Многое прошло перед его глазами. Знал он и тех, кто принимал участие в выработке знаменитых «Брянских правил».

— Да и сам, можно сказать, по этим правилам свою жизнь строил. Верные правила. Ильич их отметил. Я и детей своих по ним воспитываю. Они на моем же заводе.

Об одной из его дочерей уже рассказывалось. Это Люда Зеленкова. Сын Зеленкова Александр был учеником Сергея Царькова. Сейчас пишет письма из армии, скучает по заводу.

...В малярно-сдаточном цехе под покраской стояли тепловозы.

— Красавцы, — гордо улыбнулся Зеленков, — от нас выйдут как с иголочки...

Он говорил о заводе как о живом существе, дорогом ему. Я подумал о том, что, наверное, о таких вот тружениках говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, призывая вложить в дело частицу своего сердца, своей души... И думалось еще о том, как живы и нетленны наши традиции, потому что они передаются вот так, из рук в руки — от тех, кто принимал участие в составлении «Брянских правил» к деду Зеленкову, от него — к детям, а от них — к молодому партгрупоргу — Сергею Царькову. У Царькова растет сын. Правда, ему всего четыре года. Но Царьков-старший уже подумывает в свое время поставить его к станку, по правую руку от себя...

Я уезжал с завода. Когда машина выехала за Бежицу, свернула на Брянск, за окном вдали, высоко на косогоре, в излучине реки встали корпуса завода. Издали завод напоминал гигантский океанский лайнер. И опять вспомнилась заводская аллея, коренастая фигура Зеленкова, людской поток следом и слова секретаря партбюро: «Вот если бы каждый из нас... Да вот так...»



СТЕЖКА НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ

...Письмо было написано на тетрадной странице в клеточку и сложено треугольником. Такие письма писали в войну. Гриша долго вертел его в руках, не решаясь распечатать.

— Не мне это письмо, — говорил он почтальону, — нет у меня родных на Украине.

Почтальон рассердился:

— Фамилия твоя? Зовут Григорием? Значит, тебе...

Гриша распечатал письмо и стал читать.

«Здравствуйте, незнакомый Гриша! Пишет вам одна девушка из села Аскарово, Нина Сенина. Может, я и ошибаюсь и это письмо не вам — извините. Я увидела в газете вашу фотографию как лучшего каменщика. Лицо ваше мне показалось знакомым, и я решила к вам обратиться с вопросом.

Три года назад у нас в селе прихватили воров. Они забрались в кладовку одного колхозника. Трое убежали, а одного поймали и сильно побили. А потом бросили его на улице. Моя мама шла с поля, подобрала его и привела к себе домой. Мы с мамой положили его на лавке, так как у него все время шла кровь из носа. Он жил у нас три дня. Мне кажется, что это были вы. Помните, еще вы просили, чтоб я достала вам книжку про какого-то Рыжика, а у нас в школе такой книги не было. И вы еще долго не хотели говорить, как вас зовут. Вы боялись, чтобы вас снова не били, и на улицу выходили только вечером, когда было темно. Один раз вы вышли и не вернулись.

Сейчас я увидела ваше фото в газете и подумала, что это вы были у нас. И мама тоже так думает. Она говорит: «Я же тогда еще говорила, что он хороший хлопец». Так что я прошу, если то были вы, напишите, а то мама очень хочет знать.

С приветом Нина».

Гриша отложил письмо...

Отец его погиб на фронте. Мать умерла, когда Гриша учился в шестом классе. И вся привычная жизнь сломалась. Сначала он жил у одного родственника, потом у другого, затем попал к соседям. Чувствовал себя мальчишка в жизни неуютно, ожесточился. Тогда его отправили в детский дом.

В детском доме был порядок, ребята ходили чистые, аккуратно одетые, ложились спать, обедали в определенное время. Грише это не нравилось. И еще очень не хотелось учиться. Гриша убежал из детдома с двумя ребятами.

Добрался до Сарактыша. На станции встретили Кочубея. Это был длиннорукий парень с выгоревшей шевелюрой, лет на пять старше Гриши.

Когда стемнело, Кочубей коротко сказал:

— Пошли.

Они долго пробирались какими-то задворками — че-

рез лазы в заборах, мимо груды смутно белевших в темноте ящиков. В одном месте остановились. Кочубей осторожно отодвинул какую-то доску и шепотом приказал:

— Колька и ты. — Он ткнул пальцем в Гришу. — Вы пойдете.

Гриша инстинктивно уперся руками в дощатую стенку.

— Куда?

Кочубей наклонился, и Гриша близко возле себя увидел его белые глаза.

— Слушай, ты... — Кочубей цепко ухватил его за плечо. — Вы пойдете с Колькой. Не хочешь... — Гриша заметил в правой руке Кочубея финку.

Гриша охнул со страха и полез за Колькой. В темноте они хватали какие-то банки, бросали в корзину. И Гриша все время не мог унять дрожь в руках.

Так первый раз в жизни Гриша воровал...

С того самого вечера закружило и понесло по дорогам четырнадцатилетнего мальчишку. Замелькали названия станций, городов. Запоминались они Грише по тому, где что брали, где «заваливались», где мокли под дождем. Два раза его ловили и отправляли в детский дом. Оба раза он убегал.

И вновь, как назло, судьба сталкивала его с Кочубеем. Снова дорога. Снова ночевки на жестких скамейках вокзалов, насквозь пропитанных неистребимым запахом дезинфекции.

И опять ветер в лицо, и монотонный стук колес, и грохот буферов на стоянках.

Гриша почему-то все чаще думает об отце. Он его не помнит. Он знает его по фотографии: крутолобый, усатый, с медалью «За отвагу» на гимнастерке. «Был бы отец живой...» — вздыхает Гриша. Он лежит на каких-то тюках в полупустом товарном вагоне. Поезд стоит. В щелку Грише видны темная полоска неба и острые звезды. Ребята сидят неподалеку. Кочубей курит в кулак. Остальные слушают рыжеволосого парнишку в тюбетейке, прибившегося к ним где-то под Сибаем.

— Мне недавно про интересную книжку говорили, — шепотом рассказывал парнишка. — «Рыжик» называется.

— Про тебя? — ухмыляется кто-то.

— Ага, — серьезно говорит парнишка. — Измотался этот самый Рыжик по свету, не знал, куда приткнуться, а потом встретил его хороший, настоящий такой дядька и сыном своим сделал... Найти б эту книжку...

— Тише ты, — шипит Кочубей. — Идет кто-то.

Ребята настороженно прислушиваются к голосам на путях. С грохотом лязгают буфера. Поезд трогается. Гриша опять укладывается на спину и чувствует на глазах слезы... Эх, встретился бы ему настоящий дядька...

Два дня спустя, сидя в зарослях на берегу речушки под Аскаровом, Кочубей напутствовал:

— Ты, Гришка, полезешь. Там кладовка. Будешь подавать в окно.

Обдирая в кровь колени — окно было высоко от земли, Гриша спрыгнул на пол. В ту же минуту открылась дверь кладовки и кто-то крепко схватил Гришу за руку:

— Ах ты, стервец...

— Кочубей! — закричал Гриша, пытаясь вырваться. А его уже били, потом вышвырнули во двор. Он очнулся от того, что кто-то вытирал ему лицо.

— Мама, — сказал Гриша.

Женщина в низко повязанном платочке привела его домой. Он лежал на лавке и не мог поднять головы — из носа шла кровь.

— Ах, ироды, — приговаривала женщина, — разве ж можно так мальчонку...

А белобрысая девочка в ситцевом платьице стояла рядом, широко открыв глаза. Вода из кастрюли, которую она держала в руках, лилась ей на босые ноги, и она не замечала этого.

Потом ночью, тайком, он ушел от них. Он бродил один. Опять воровал и ночевал на вокзалах. И, вспоминая рассказ парнишки о Рыжике, с тоской думал: «Мне б настоящего дядьку, чтоб сыном взял...»

Где-то под Ахтыркой Гриша попал в детскую комнату.

— Я ж ничего не сделал, — пытался он выкрутиться.

— То-то и плохо, что ничего не делаешь, — сказала женщина в милицейской форме. Он наотрез отказался ехать в детский дом, и тогда было решено отправить его в ближайший колхоз. Там его послали в подпаски к деду Буйнусу.

Дед был маленький, щуплый, с окладистой бородой и острым взглядом еще не выцветших глаз под торча-

щими кустиками бровей. Он жил на берегу озера, в десяти километрах от села. Здесь стояла землянка из самана. Дед обмазывал ее глиной, выкладывал печку.

— Дедушка, — спрашивал Гриша, — это вы сами землянку строили?

— Сам. А то кто ж?

— А печка зачем? Сейчас же лето.

— Тут дорога рядом. Поедет кто зимой — согреется...

Гриша так устал от голодного мотания в товарняках, что рад был сонной степной тишине. Ему хотелось лежать вот так на солнце целыми днями, закинув руки под голову, но дед возился у землянки, ни на минуту не присаживаясь отдохнуть, и Гриша, чувствуя себя неловко, шел помогать ему. Дед учил его всему, что знал сам, — косить сено, выбирать пастбища, лечить заболевших овец, и сердился, когда у Гриши что-то не получалось.

Вечерами они сидели у костра. В темном небе мерцали звезды. На озере сонными голосами перекликались птицы. Издалека доносилось неторопливое бормотание машины. Дед рассказывал о себе:

— Выйдем, бывало, в поле с отцом, царствие ему небесное, запряжет он быков в плуг и говорит мне: «Ну-ка становись за плуг, и чтоб мне борозда была как по нитке...» А я вот таким мальчонкой был. И ничего, управлялся...

Дед помолчал. Поднял крышку с кастрюли, висевшей над огнем, помешал ложкой.

— А потом первая империалистическая, революция, гражданская война. Носило меня по всей России: темный был, забитый. Но все ж сражался за наших, за красных, значит. Был в солдатах, Ленина видел. Это когда на Финляндском вокзале было. Слышал небось? Ну как он на броневике выступал. Близко видел. И слышал. Это на всю жизнь счастье.

— А Ленин, он какой?

— Ленин? Ну какой он? Одно слово — Ленин!

Гришка говорил с придыхом:

— Эх, в Москву бы! Хоть глазком одним на Мавзолей посмотреть.

Дед назидательно говорил:

— К Ленину человеком надо прийти, чтоб было что за душой, а не шалопаем там каким...

И замолкал. И Гриша тоже замолкал, не зная, имел ли дед в виду его, или просто так сказал.

Дед ни о чем не расспрашивал Гришу. Но однажды, когда Гриша приболел, видя, как дед хлопочет вокруг него, он сам, не зная почему, стал вдруг рассказывать ему обо всем: как убежал из дому, как бродил и воровал с Кочубеем, и про книжку о Рыжике тоже рассказал.

И старый Буйнус понял Гришу, понял его тоску о человеке, который взял бы его за руку и повел по жизни. Понял, но не одобрил.

— А ты сам, сам жизнь свою делать попробуй, — сказал он Грише. — А то что, если, скажем, не встретится тебе такой человек? И пойдет вся твоя жизнь наперекосяк...

Ближе к осени они вернулись с отарой в село, и дед сказал:

— У меня будешь жить. В школу определю.

Но Гриша не хотел идти в школу. Дед сказал ему раз, другой, а потом рассердился не на шутку:

— Я ж тебя, паршивец, уму-разуму хочу научить.

И дал Грише крепкого подзатыльника. В тот же день Гриша ушел из села. Он бродил недолго. Наступили холода, и Грише пришлось совсем плохо. Он все чаще вспоминал сытую жизнь у озера, длинные ночные разговоры с дедом Буйнусом у костра. Он чувствовал правоту деда, и ему хотелось вернуться к нему, но было стыдно.

На какой-то маленькой станции уже на Украине он заболел. Его подобрали на вокзале с воспалением легких, положили в больницу. И здесь, лежа на жесткой койке, в комнате, насквозь пропахшей запахом лекарств, он многое передумал о том, как он жил и как ему жить дальше. «А ты сам, сам жизнь свою делать попробуй», — вспомнились ему слова деда Буйнуса. И он понял, что, если даже найдется человек, о котором он мечтал, который подаст ему руку, а сам он не возьмется за свою жизнь, он все равно собьется с пути. Из больницы Гриша вышел повзрослевшим. Он поехал к дальней родственнице матери в село. Та приняла его. Гриша стал работать скотником на ферме. Тетка ему сказала:

— Учатся все. Вон бригадир мой в школу тоже записался.

Гриша поморщился: учиться не хотелось. Но он все-

таки поступил в седьмой класс вечерней школы. Учился плохо.

Как-то на уроке он случайно оглянулся и увидел председателя колхоза, пожилого семейного человека, который, с трудом преодолевая дремоту, силился вникнуть в слова преподавателя. И Гриша подумал: «Ведь он уже почти старик, ему, наверное, труднее, чем мне, а он все же учится...» И опять вспомнились слова деда Буйнуса: «К Ленину человеком надо прийти, чтоб было что за душой...»

Однажды в Киеве — это было в те дни, когда они бродили с Кочубеем, — Гриша загляделся на рабочих, выкладывавших карниз огромного здания. Это были веселые ребята, в забрызганных раствором робах, в пилотках, сделанных из газеты. Кирпичи так и мелькали в их ловких руках, и карниз вырисовывался на глазах. Как завидовал Гриша их ловкости: «Вот бы научиться так...» И потому, окончив седьмой класс, он поступил в ремесленное училище в Киеве и стал учиться на каменщика.

...И вот он сам, как те ребята на Крещатике, стоит с мастерком в руке, и на голове у него неизменная пилотка из газеты, точно такая, как у тех ребят. Гриша строит дома в Москве. Его захватывает самый процесс кладки. Девчата-подсобницы не успевают подавать ему кирпич, мастерок так и мелькает в его ловких руках. Кладка растет на глазах, а он кладет и кладет кирпич без устали, и ему не хочется бросать работу.

Снизу кричат:

— Гриша, кончай! Раствора больше нет.

Гриша спускается вниз. Каменщики ждут раствора.

— Кто за раствором поехал? Бригадир? — спрашивает Гриша.

— Бригадира нет. Никто не поехал.

— Так узнать надо.

— Садись, чего ты...

Некоторое время Гриша сидит вместе со всеми, перебрасывается незначительными фразами, но одна мысль не дает ему покоя: «Так разве сами мы не можем, без бригадира?»

Он поднимается и идет на растворный узел, и приезжает оттуда на самосвале с полным кузовом раствора...

А вечером на видном месте висит «молния». И в ней

призыв равняться на Гришу, выполнившего две нормы за смену. Ребята толкают Гришу под бок:

— Видал, как тебя, а? Молодец, Гришка!

Гриша молчит, но внутри у него все поет от радости. Когда его фотографировали для газеты, он поинтересовался у корреспондента:

— А в то село... (он назвал село, где жил дед Буйнус), скажем, попадет ваша газета?

Очень хочется ему, чтобы увидел ту газету дед Буйнус. Но это только для деда. А меня Гриша попросил не называть его фамилию. Разве так уж важно, кем он был. Важно другое — как он сам встал на ноги и трудной своей жизненной стежкой пришел сюда, в Москву, на Красную площадь.



НЕБО

Оговорюсь сразу: эта встреча на Красной площади была случайной. Шел съезд колхозников. В перерывах между заседаниями делегаты ходили по Кремлю, по Красной площади. Я обратил внимание на пожилого мужчину: несмотря на крепкий в то утро мороз, он был в тюбетейке. И девчонка-подросток рядом тоже в тюбетейке. Я спросил:

— Вы делегат съезда?

— Да...

— А она тоже? — я кивнул на девушку.

— Нет, — покачал головой мужчина. — Она студентка. Я взял ее с собой, чтобы показать Москву...

Девушка без смущения сказала:

— Я очень хочу написать стихи о Ленине...

Так я познакомился с Гулрухсор Сафиевой...

1

Когда я в первый раз о Родине узнала?
Когда, еще без слов, запела я о ней?
Прекрасней всех цветов она вокруг сияла...

...Движение внезапно прекратилось. Оборвался надсадный скрип над головой, и шум реки ударил в уши. Она не сразу поняла, что случилось. Люлька висела над водой без движения. Гулрухсор перехватила руками металлический канат, вся напряглась, пытаясь сдвинуть люльку с места. Колесо над головой даже не скрипнуло.

Девушка оглянулась вокруг. Вечерело. Сумерки залегли в расщелинах гор. Канат, наклонно уходивший к берегу, еле угадывался. Его заело между колесом и блоком, и сдвинуться с места не было никакой возможности.

— Так. Влипла, — сказала она вслух. Она хорошо знала, что до самого утра сюда никто не придет, потому что через Сурхоб переправляются в подвесной люльке только днем, и теперь ей предстоит тут просидеть до самого рассвета. Она загадала: если сама, без чьей-либо помощи, выберется на берег, желание сбудется. Загадала и сама усмехнулась: как мало у нее шансов. Видимо, один из ста. Не больше...

— А если люлька оборвется? — вслух сказала она. Подумала: «А чего это я говорю вслух? Наверное, от страха». Она на минуту даже перестала двигаться: ей хотелось узнать, страшно или нет. Но чувства страха не было. А чего бояться-то? На зверя, что ли, иду? Ей вспомнилось, как однажды в горах она нос к носу столкнулась с медведем.

Отец ее хаживал на медведя. Одна шкура лежала у них на полу. Медведь скалил зубы. Мать в детстве пугала ее этим медведем. Гулрухсор боялась до тех пор, пока сама однажды не исследовала шкуру.

Как-то на рассвете она возвращалась из соседнего кишлака. Это было в тот год, когда, окончив семилетку, Гулрухсор собиралась в районный интернат. Перейдя вброд ручей, она взобралась на косогор и увидела прямо перед собой медведя. Он стоял, глядя на нее маленькими слезящимися глазами. Оскалив пасть, он зарычал. «Так он такой же, как наша шкура, только с глазами», — подумала Гулрухсор и махнула рукой. Медведь не уходил.

— Эй ты, зверь, уходи с дороги! — закричала она.

И внезапно почувствовала, что у нее осел голос. Сердце вдруг тяжело заколотилось. Медведь попятился и, повернувшись, бросился в сторону. Она вытерла взмокший лоб: испугалась.

Вот и теперь. Конечно же, надо было переночевать в райцентре, а утром отправляться. Ей захотелось домой сегодня же: дома ведь ждут. Как говорил в шутку отец: «Наша знатная студентка едет». — «Почему знатная?» — «Но ведь ты у нас еще и поэтесса, и комсомольский вожак на факультете».

И эта «знатная студентка» повисла между небом и землей на середине речки. Может, удастся сдвинуться. Надо попробовать еще. Надо. Ведь она загадала желание...

2

Раскрыв глаза, я ясно увидала
Цветущий горный край и полевой
простор...

В темноте Гулрухсор нащупала холодный канат и стала понемногу раскачивать люльку. От напряжения у нее затекли руки, но она все раскачивала и раскачивала из последних сил. Вдруг что-то скрипнуло. Колесо на канате или пролетевшая в темноте птица прокричала? Двигается она или нет? Проклятая темнота! Продолжая раскачивать люльку, она перехватила канат руками и одну ладонь положила прямо рядом с колесиком, крепко обхватив холодное витое железо. Через минуту колесо коснулось ладони...

Вспомнила, что с самого утра ничего не ела. Торопилась домой из Душанбе и нигде не хотела обедать. Поесть бы сейчас. Ах, как поили ее доярки молоком в горах! Когда это было? Да, в августе прошлого года...

Она приехала на каникулы в родной кишлак Яхи. Утром схватилась чуть свет матери помогать, а отец полушутя-полусерьезно сказал:

— Отдохни, дочка, у тебя каникулы...

Она провалялась три дня с книжкой на разостланном в саду одеяле, потом позвонила в райком комсомола:

— Ребята, дайте какое-нибудь поручение.

В райкоме ее знали. Предложили: может, лекцию прочитаешь.

— О чем?

— Ну о литературе. Ты же стихи пишешь... Стихи почитаешь. На пастбищах знаешь как молодежь скучает...

Две недели она бродила по горным пастбищам, собирала доярок, читала им стихи. Она была негордой: пусть слушает десяток людей. Как в Сарыджу. Или пять доярок. Это в Истоне. Она добралась туда, изодрав вконец ботинки о камни, чуть живая от усталости. Доярки напоили ее молоком. Ах, какое это было молоко! В жизни такого не пила. Но потом и работала же она: грузила на машину тяжелые фляги.

Спать уложила ее рядом с собой пожилая женщина Шафри Низамова. Спросила:

— Не спишь?

— Нет.

И доярка стала рассказывать про свою очень нелегкую жизнь. Гулрухсор долго слушала, потом спросила:

— Скажите, Шафри-хон, вы не завидуете мне?

— В чем?

— Я учусь в университете...

Женщина тихонько засмеялась.

— Нет. Это ты мне должна завидовать. Я сделала хорошее дело в жизни: вон сколько надоила молока, за это наградили меня орденом...

— Но я живу в Душанбе...

— А разве в этом счастье? Счастье в том, чтобы было чем в жизни своей гордиться...

Утром она проводила Гулрухсор далеко по тропинке. Девушке неловко было за ночной разговор, и она молчала. А женщина сказала на прощание:

— Ты не смущайся. Это у тебя от молодости, пройдет. А о гордости что я сказала, не забывай...

С этих слов о гордости начинала она теперь лекции свои и в Кулябе, и в Новоко. А в Сангдеволе у нее была всего одна-единственная слушательницаНиссо Абдуллаева. Она пришла к Гулрухсор за советом:

— Что делать: хочу учиться, а родные не пускают, замуж хотят выдать.

— Делай по-своему.

— Но я боюсь.

— Один раз сделай по-своему, потом всю жизнь будешь гордиться сделанным.

Они проговорили всю ночь. Утром Ниссо написала заявление и попросила Гулрухсор передать его в школу-интернат...

Так окончилась эта самая короткая ее лекция...

Потом долго еще с пастбищ звонили в райком комсомола:

— Пришлите нам Гулрухсор. Лучше не было лектора.

3

> Я ей обязана всей жизнью, всем,
> чем стала,
> Но вспомнить не могу, с каких же это пор
> Названье — Родина — навеки я узнала!

...А ведь она двигается. Она чувствует это, с силой подтягиваясь по канату на руках. Не успела она убрать руку, и колесо с разбегу ударило по пальцам. Она вскрикнула, схватив пальцы губами, и почувствовала вкус крови. И колесо опять заело. Ну еще немного, хоть один сантиметр... Интересно, насколько она продвинулась? Она сейчас где-то на середине реки. Сколько же это над водой? Семь метров? Значит, на семь метров ближе к небу...

...Первое заявление она написала спустя несколько дней после полета Юрия Гагарина в космос. Она долго сидела, обдумывая разные варианты. Все они были у нее написаны на отдельных страничках, вырванных из школьной тетрадки. Наконец остановилась на одном. Он показался ей наиболее убедительным. «Москва. Советскому правительству. Прошу послать меня в космос. Образование восемь классов. Физически крепкая (занимаюсь спортом). Не боюсь никаких трудностей. Гулрухсор Сафиева, девушка-таджичка».

Ответа ждала долго. Усиленно занималась спортом. Вот в этой самой люльке по многу раз переправлялась через Сурхоб, подолгу глядела в кипящую речную круговерть — привыкала к высоте... Полет Терешковой был для нее ударом. Но появилась и надежда: раз она полетела, значит, и я смогу. На этот раз написала заявление в ЦК комсомола. Просто. Скромно. С достоинством. Девушкой-таджичкой не стала козырять. Больше нажимала на физическую подготовку и на любовь к астрономии.

Про все это (и про переписку) никому не сказала, кроме отца. Отец у нее умница. Он выслушал и сказал серьезно:

— Если захочу чего, обязательно добьюсь. Так и ты... Поняла?

Она однажды сказала девчонкам:

— Почему у нас скучно в кишлаке? У других вечера, музыка, веселье. А мы? Высоко в горах? Но мы же комсомольцы...

Она устроила вечер. Она одна была на сцене и во всем клубе, потому что все это было непривычно. Ребята и девчонки молча слушали ее. А она пела, читала стихи, играла на рубобе и думала только об одном: она должна довести этот необычный концерт до конца...

Невеселое вышло веселье. Но оно нужно было для того, чтобы за ней последовали другие... Где только взялось у нее тогда упорство...

Не рассвет ли брезжит? Или это снег в горах белеет? Или весь белый свет помутился у нее в глазах от усталости? Она хотела поднять руки к канату и почувствовала, что все в ней одеревенело. Может, бросить все к черту, отдохнуть? Скоро утро. Придут люди, помогут. Ах, бедненькая! Люди помогут. И мост за тебя построят. И думать за тебя будут...

...Интересно, что делается теперь в их 32-й комнате в общежитии? Впрочем, что же делается: спят себе ее подружки. Одна она тут. Где-то в горах висит в люльке над бурлящей рекой студентка истфака (причем неплохая студентка: английский — «пять», персидский — «пять», логика — «четыре»). С логикой подкачала. Оно и верно, иначе не полезла бы в эту проклятую люльку. Итак, значит, студентка. Волейболистка. Руководитель литературного кружка на факультете. А голос? Как она пела, когда ездила летом со студенческой агитбригадой в Вахшскую долину! Соловей, и только...

Подшучивая таким образом над собой, она вновь схватилась за канат...

...Когда ей показалось, что нет уже сил шевельнуть пальцем, она вдруг почувствовала, что люлька ударилась днищем о землю. Гулрухсор подняла глаза. Светало, и небо было совсем близко...

Еще раньше она загадала: если сама, без чьей-либо помощи, выберется на берег, желание сбудется — она полетит в космос...

...Не с этого ли начинается человек: с упорного желания добиться своего, пусть в самом малом, с воспитания в себе силы воли в самых обыкновенных житейских обстоятельствах?

* * *

Прошло несколько лет. Гулрухсор Сафиева не стала космонавтом, как мечтала. Но те стихи о Ленине, первые строки которых она шептала когда-то на Красной площади, теперь читают люди — Гулрухсор Сафиева стала известной таджикской поэтессой.



КЕПКА СТАЛЕВАРА

Говорят, что сквозь темные очки ничего толком не разглядишь. И еще говорят, что огонь обладает необъяснимым свойством: самый вид пламени завораживает, располагает к раздумьям... Мне это пришло на ум, когда я увидел человека в неуклюжей робе и темных очках, в задумчивости глядевшего на пламя мартеновской печи. Познакомил нас Джуду Бичикашвили, заместитель комсорга завода. Парень протянул жесткую руку, поздоровался:

— Гамарджоба!

— Отари, журналист интересуется, как плавится сталь.

Парень сдвинул очки на лоб.

— А чего ей — плавится...

Пошли пить газированную воду. Отари Долидзе устало опустился на скамейку, снял с головы кепку: мокрые волосы прилипли к вспотевшему лбу. Джуду сказал, кивая на меня:

— Ты ему про кепку расскажи.

— Это ж когда было...

— Все равно расскажи.

...В тот день они выпустили скоростную плавку. Заслонки на печах были подняты. Белое зарево полыхало на весь цех. Начиналась завалка. Слева, позванивая, двигалась машина, держа, как на вытянутой ладони, очередную мульту с шихтой. Плавку вел сегодня Отари под наблюдением бригадира Шубитидзе. Плавка была первая самостоятельная, бригадир — человек горячий. И Отари ждал, что он скажет. Тем более что

при плавке они немного повздорили — бригадиру показалось, что Отари дал слишком много серы.

Перекрывая грохот завалочной машины, Шубитидзе крикнул:

— Отари, принеси паспорт плавки.

Глядя, как бригадир рассматривает паспорт, Отари с тоской подумал: «Сейчас скажет — можно было раньше плавку выпустить, если б...» Отари хотел отойти в сторону, а Шубитидзе снял знаменитую свою кепку с приклепанными к козырьку темными очками (в этой кепке он на всех портретах), нахлобучил на опешившего Отари:

— Бери, генацвале. Добрым сталеваром будешь.

Отари знал историю этой кепки. Это была знаменитая кепка: в ней Шубитидзе выпускал ленинскую плавку. Это было в дни, когда страна готовилась к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Шубитидзе тогда установил небывалый рекорд. Отари бережно нес эту кепку с собой в общежитие и думал о том, что теперь-то он может свернуть горы.

Он ждал приезда отца из Хашури. Догадывался, что предстоит серьезный разговор, отец настаивал, чтоб он вернулся домой и еще раз попытался поступить в какой-нибудь институт.

Предчувствие не обмануло Отари: отец приехал хмурый, но до серьезного разговора дело не дошло, потому что Отари спешил на смену. Он предложил:

— Хочешь, проводи меня. Завод посмотришь.

Шли заводской аллеей. Было лето. Отари, искоса наблюдая за отцом, сказал:

— У нас тут как в Хашури: зелено.

Отец промолчал. В цехе он поначалу растерялся. Грохот и лязг завалочных машин, огнедышащие печи ошарашили его. Шубитидзе, кивнув Отари, спросил с улыбкой:

— Отец?

— Вот в гости приехал.

Отари хотел сказать отцу насчет кепки. Шубитидзе сталевар, известный на всю Грузию, но времени уже не было. Смену приняли на доводке. Плавка шла неровно. Работы по горло. И Отари мгновенно взмок. Бросая доломит в печь, он то и дело подбадривающе поглядывал на отца. Тот неопределенно улыбался в от-

вет. Потом Отари побежал пускать плавку. А когда вернулся, отца уже не было.

— Ушел, — сообщил обер-мастер.

— Что-нибудь сказал?

— Говорит: ад у вас тут... Старый человек, конечно.

...В общежитии, когда Отари вернулся со смены, отец положил на стол десятку и отчеканил — он никогда не был разговорчивым:

— Это на билет. Бери расчет — и домой.

С тем и уехал. А Отари сидел один и держал в руках кепку, про которую так и не успел рассказать отцу.

Вот уже сам Отари — сталевар комсомольско-молодежной смены. У него подручные. И Шубитидзе, встретив его как-то за обедом, шутливо потрепал за чуб.

— Волосы выгорели — значит, настоящий сталевар.

Вскоре случилось событие, которое невольно заставило Отари вспомнить эту фразу. Они только приняли смену. Джуду, он тогда работал подручным у Отари, живо потирал руки.

— Знаешь, я думаю, если нам удастся сократить время на завалке, мы сегодня, может, даже сверхскоростную плавку выпустим.

— Это было бы здорово, — обрадовался Отари. Они готовились к работе. Подручные, переговариваясь, стояли у печи. Отари печь показалась «холодной», и он стал еще раз просматривать паспорт плавки. Вдруг он схватился за голову: в смене, которую они сейчас принимали, отключили подачу газа, и печь начала остывать.

— Вы что, с ума сошли?!

Бригадир смены Иосиф Тактакишвили, не смущаясь, пояснил:

— Жара, видишь, какая, работать невозможно, вот немножко и отключили, чтоб было попрохладней.

— А о нас вы подумали? У нас же завалка!

— Вы-то при чем — у вас своя плавка, у нас своя.

Джуду взорвался:

— Да это же знаешь что?!

Отари оттащил разгоряченного Джуду.

— Брось ты его — завалку надо начинать.

Еле выпустили плавку в срок. А после в душевой и мылись сидя, потому что не было сил стоять на ногах.

— Вот тебе и сверхскоростная, — возмущался Джуду.

Отари думал о своем: как же так, опытный бригадир, и вот — «твоя плавка», «моя плавка». Ведь сталь-то не для личного пользования.

Вскоре случай вновь навел его на эти размышления.

После очередной плавки Отари пошел осматривать печь. Плавка выдалась трудной — было много серы, а это самое проклятое дело, потому что сера долго выгорает. Печь перегрелась, глина под столбиками между крышками обвалилась.

— Надо будеть подправить, — сказал он ребятам.

— Сейчас? — удивленно переспросил Кукури. Уставшие до изнеможения подручные сидели на скамейке.

— А когда?

— Так сейчас другая смена. Пусть они и делают.

— Но нам же все равно потом на этой печи работать, — пытался убедить Отари.

— Ну знаешь, — вызывающе покрутил головой Резо. — Вкалывать за чужого дядю — ты меня извини... (Резо — это брат. Отец, примирившись, «благословил» на завод и второго сына. Отари за него в ответе.)

— Пошли, — сдерживая себя, жестко бросил Отари и взял лопату. Он знал, что надо подправить эти столбики именно сейчас, чтобы показать второй смене, что они не считаются, чья плавка, ваша или наша.

Уже дойдя до печи, он оглянулся. Никто не сдвинулся с места. И не поднялся даже Резо. Отари вмиг оказался рядом с подручными.

— Резо!

Резо поднял глаза.

— Я не пойду.

Тогда Отари схватил его за ворот негнущейся куртки:

— Нет, ты пойдешь! Потому что ты мой брат. Мы не можем работать плохо. Понимаешь, не можем!

Они вместе молча обмазывали глиной эти проклятые столбики, прикрываясь брезентовыми рукавицами

от нестерпимой жары. В голове у Отари все время стояло это «я не пойду». И горько, и стыдно ему было.

И все-таки сдвинулось дело. Медленно, но сдвинулось. Иосиф Тактакишвили, с которым в тот раз Отари схватился из-за отключенного газа, увидев исправленные столбики, виновато поднял брови.

— Вот черт, я еще раньше заметил, что они ослабли...

И не сказал больше ничего. Но задумался. Отари, видя это, повеселел: значит, что-то дошло до Иосифа, что-то он понял...

А в тот день Отари вел плавку. Джуду заметил, что он необычно молчалив.

— Джуду?

— Я слушаю тебя, Отари.

— Хотел я, понимаешь, подарить Резо шубитидзевскую кепку.

Джуду долго молчит, наконец неопределенно бормочет:

— Ну и что?

— Уезжать собирается Резо.

— Каждому свое.

— Видать, что-то я недосмотрел в нем.

— Ты зря мучаешься. Может, работа в мартене не по нему... Куда едет Резо?

— К отцу. Учиться, говорит, буду. У него цель такая...

— Знаешь, — говорит Джуду, — это хорошо, что у человека есть цель, он знает, что хочет от жизни. Но надо еще знать, что жизнь хочет от тебя. Вот ты понял. А Резо, видать, предстоит еще над этим подумать. И поверь мне, он рассудит правильно. Тут, рядом с тобой, он кое-что понял...

Отари кивнул и снова задумчиво смотрел на пламя печи, и не понять было: согласен он с мыслью Джуду или нет.

— А как же кепка сталевара? — допытывался Джуду.

Отари выпрямился:

— Сашка вырастет. Сын. Ему подарю.

СОДЕРЖАНИЕ

Скрыпник А. П.

С45 Иду к Ленину. Сборник очерков. (Гравюры художника В. Носкова.) М., «Молодая гвардия», 1974.

144 с. ил. («Ровесник») 100 000 экз.

В книге «Иду к Ленину» — очерки о самых разных людях: такелажнике Михаиле Волошине и таджикской поэтессе Гулрухсор Сафиевой, трактористе Анатолии Панкратьеве и летчике-космонавте Георгии Шонине. Все очерки объединяются одной главной темой: что значит Ленин в судьбе каждого человека.

Книга посвящается знаменательной дате — 50-летию со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. Комсомольцы, вся советская молодежь повседневно обращаются к ленинским трудам, к его идеям, к его личности. Комсомол строит свою жизнь по Ленину, каждый свой шаг сверяет с великими делами вождя.

С $\frac{10507-035}{078(02)-74}$ 133—74 **3КСМ**

Скрыпник Александр Петрович
ИДУ К ЛЕНИНУ. Сборник очерков

Редактор **В. Теплухин**

Оформление и заставки художника **Н. Пяткина.** На *обложке* и фронтисписе гравюры художника **В. Носкова**

Художественный редактор **Н. Коробейников**

Технический редактор **Т. Цыкукова**

Корректоры: **Г. Трибукская, А. Долидзе**

Сдано в набор 11/XI 1973 г. Подписано к печати 30/I 1974 г. А01240. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Печ. л. 4,5 (усл. 7,56). Уч.-изд. л. 7,6. Тираж 100 000 экз. Цена 28 коп., в переплете 50 коп. Т. П. 1974 г., № 133. Заказ 2034.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

28 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ